


NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06702934 2





Григорій Мачтетъ.

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Первый гонораръ. Боевая ночь.
Черная неблагодарность. Изъ любви. Хроника одного дня.
Новое средство.

Изд. ред. журнала „Русская Мысль."



МОСКВА.
Типогр. П. Е. Астафьева, Москва. Арбатъ, д. Платонова.
1891.

Григорій Мачтетъ.

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ.



МОСКВА.
Типографія П. Е. Астафьева. Арбатъ, д. Платонова.
1891.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАРЪ

РАЗСКАЗЪ ПИСАТЕЛЯ.

Мой пріятель былъ человѣкъ съ недюжиннымъ талантомъ. Незадолго до его смерти,—онъ умеръ очень молодымъ,—я навѣстилъ его въ больницѣ... Тамъ, на больничной койкѣ, онъ разсказалъ мнѣ эпизодъ изъ своей жизни, хрипя больною грудью, кашляя и задыхаясь... Но блѣдныя щеки его зардѣлись, глаза горѣли хорошимъ, счастливымъ огнемъ. Онъ вспомнилъ и разсказалъ мнѣ единственный, но его словамъ, свѣтлый, дѣйствительно полный глубокаго счастья моментъ, выпавшій на его писательскую долю, и это была его лебединая пѣсня...

Вотъ что разсказалъ мнѣ пріятель.

Было это въ началѣ семидесятыхъ годовъ.. Нечего говорить мнѣ вамъ, что было за время тогда,—сами помните и знаете... Мы не увлекались наживой, не проводили время въ тунеядствѣ, какъ вошло, напримѣръ, въ моду теперь, и не кичились безвѣріемъ. Мы вѣрили въ будущее, въ свой народъ и умѣли

любить его, а это, чуть-ли, не главное. Въ душѣ не было пусто,—тамъ жили свѣтлые и чистые идеалы... Царила совѣсть и властно подчиняла себѣ почти всѣхъ... Каждый, казалось, чувствовалъ свой долгъ передъ другими, предъ сѣрой, темной массой „меньшаго брата“; каждый сознавалъ, что обязанъ ей всѣмъ своимъ нравственнымъ „я“, своимъ духовнымъ богатствомъ, превосходствомъ, знаніемъ, и, чувствуя и сознавая—каялся! Это покаяніе влекло къ самоотреченію, толкало на подвигъ и самоотверженіе, звало къ расплатѣ за свой долгъ посвященіемъ себя исключительно однимъ насущнымъ потребностямъ и интересамъ этой массы... Правда,—были, какъ всегда, и другіе элементы, но тогда они прятались или нагло старались попасть въ общій тонъ, лгали ради какихъ нибудь цѣлей, разсчитывая на довѣрчивость юнаго сердца...

Теперь любятъ иногда шипѣть на то время или пустить въ него отточенную зоильствомъ шпильку,.. Это бываетъ и удобно, и легко, когда хочешь прикрыть свое паденье, или за душей у тебя ничего ровно нѣтъ... Ну, и говорить объ этомъ, значитъ, не стоитъ,—правда?! А вотъ что: любятъ иногда увѣрять тоже, будто въ насъ совсѣмъ не было молодости, будто мы были какъ-то не ес-

тественно взвинчены и выглядѣли стариками, а не юношами... Другъ мой, — а я думаю, что именно мы то и умѣли быть молодыми, конечно, оговариваюсь,—смотря по тому, что называть молодостью... Веселья, смѣха, жизни у насъ, конечно, было не меньше, но къ тому же мы такъ любили свою молодость, такъ дорожили ею и своими молодыми силами, что растратить ихъ зря, хотя бы на самые сладкіе пряники,—считали бы грѣхомъ... Да и то сказать,—сладость-то, вѣдь, относительная вещь!... Ну, да, вотъ,—судите сами...

Пріятель закашлялъ отъ волненія и продолжалъ:

Нашъ товарищескій кружокъ весь былъ проникутъ и этой вѣрой и этими идеалами... Мы учились, набирались знаній твердо сознавая, для чего это намъ нужно, и, обладая ясно намѣченной цѣлью, отбрасывали, какъ ненужное, все, что не соотвѣтствовало и не служило прямо и непосредственно этой цѣли. Медики, юристы, техники и т. д. и т. д.— всѣ мы думали учиться жить простой, трудовой, мужичьей жизнью, гдѣ, конечно, нѣтъ мѣста роскоши и культурнымъ привычкамъ. Такимъ образомъ, мы отказались отъ посѣщенья театровъ, отрицали занятія художествами, ни чѣмъ не служившими нашей цѣли,

иронизировали надъ поэзіей, пріучали себя къ лишеніямъ и во всемъ себѣ отказывали... Костюмъ нашъ и общій видъ часто были невозможны съ культурной точки зрѣнія, манеры ужасны,—нѣкоторые изъ насъ, болѣе молодые, правду сказать, даже бравировали подчасъ этою невозможностью манеръ и костюма,—но за то, въ общемъ, мы были честны и искренни... Да, мой другъ!... Мы заслуживали отъ маменькиныхъ сынковъ и кисейныхъ дѣвицъ кличку: „ригористы", и таковыми мы были на самомъ дѣлѣ... Наша личная жизнь была чиста!... Теперь любятъ подсмѣиваться и надъ нашими пледами, сапогами, нашими рубашками, прическами, ногтями и т. д. и т. д... Теперь, когда все это уже пережито, издали,—оно можетъ быть и кажется отчасти смѣшнымъ,—кто его знаетъ? но тогда... Впрочемъ, нѣтъ, я не то хочу сказать... Я хочу сказать, что подсмѣиваясь, люди забываютъ одно: — искренность, честность и чистоту цѣли...

Я тоже шелъ за всѣми, но, правду сказать, я не былъ цѣленъ... Я исповѣдывалъ то-же, что и мои друзья, я готовился къ тому же, что и они, но на днѣ моего сундука, окрашеннаго зеленою краской, таились несомнѣнные доказательства немощи плоти... Тамъ таились цѣлыя кипы повѣстей и рома-

новъ, написанныхъ украдкой, ночью, воровски, подъ непреодолимымъ зудомъ писанья, превозмогавшимъ мою волю. Этотъ зудъ или страсть, все равно,—проявился у меня сравнительно рано, и я, признаться, краснѣлъ и стыдился его, казалось, больше всего на свѣтѣ... Товарищи знали, однако, объ этой страсти, но изъ деликатности избѣгали говорить о ней, убѣдившись, какъ это меня злитъ и волнуетъ... Слово „писатель“, по отношенію ко мнѣ, звучало въ моихъ ушахъ одной ядовитѣйшей ироніей и равнялось-бы самому тяжкому оскорбленію... Я былъ увѣренъ, что всѣ эти романы и повѣсти не стоятъ и мѣднаго гроша,—и такъ оно было, конечно, на самомъ дѣлѣ,—но, признаюсь, я страстно и безумно-ревниво любилъ ихъ... Я любилъ каждую страничку, каждый листикъ, каждую строчку, за что, — право, не знаю,—потому что, спрошенный по совѣсти, я долженъ былъ-бы отвѣтить, что всѣ они ничто иное, какъ ребяческій, наивный бредъ... Но я хранилъ ихъ, какъ святыню... И эта святыня была открыта только одному существу—Машенькѣ.

— Право, другъ мой, я не знаю, какъ вамъ нарисовать нашу Машеньку, потому что, для обрисовки этого святаго типа, нужны талантъ и краски творца Миньоны и Грет-

хенъ. Да и тѣхъ хватитъ-ли еще, — не знаю!.. Потому что у Миньоны и Гретхенъ не было той широкой и, какъ море, бездонной любви къ міру и людямъ, не было того самоотреченья во имя другихъ, совершенно чужихъ, не было способности на самый строгій подвигъ во имя отвлеченнаго, исповѣдуемаго идеала... И, если хотите, не было той простоты... Тамъ, кажется, была скорѣе наивность, чѣмъ простота, и, во всякомъ случаѣ, какая-то наивная простота, чѣмъ братская, умная, естественная простота Машеньки, лишенная всякаго эффекта и картинности, вытекающая изъ одной вѣры и любви къ людямъ, изъ дѣйствительнаго самоотреченія. У Машеньки „себя", если такъ можно выразиться, не было. Вся она и все въ ней было для другихъ... Два бога было въ ея культѣ: деревня, для которой она слушала акушерскіе курсы, чтобы затѣмъ расплыться въ ея сѣрой массѣ, и „несчастные" — нуждавшіеся въ помощи, для которыхъ она несла все, что могли добыть ея крошечныя ручки... Даже мы, „ригористы", звали ее подвижницей и монашкой...

— Вы знаете, — у меня ужъ такъ устроена голова, что я люблю думать аналогіями и сравненіями... Представьте себѣ ненастье, мрачное осеннее ненастье, пронизывающую

слякоть, промзглый туманъ, удушливый и тяжелый, заволокнувшій все окрестъ до тошноты. И представьте себѣ, что все это вдругъ исчезло, смѣнилось яркой весенней картиной. Сквозь тучи прорвалось голубое небо и жаркое солнце, туманъ исчезъ, все окрестъ зазеленѣло, благодатное тепло замѣнило сырость и холодъ... И вы получите представленіе о томъ, что дѣлало въ нашей средѣ появленіе Машеньки... Строгая и ласковая, кроткая и смѣлая, тщедушная и сильная волей, энергіей, выносливостью, — она была нашей совѣстью, горячей искрой, что не разъ поддержала тлѣвшее въ нашихъ сердцахъ чистое пламя. Предъ ней нельзя было никому лгать, ломаться, кокетничать, — одинъ взглядъ ея добрыхъ, чудныхъ глазъ разсѣевалъ, какъ дымъ, всякую неправду...

Маленькая, худенькая, тщедушная на видъ, брюнетка,—она являлась живой загадкой: гдѣ, какимъ образомъ въ такомъ маленькомъ тѣлѣ могла сосредоточиваться такая великая нравственная сила. Семнадцати-лѣтней дѣвушкой, потерявшей мать, загнанную въ гробъ мужемъ, она замѣнила ее для своихъ меньшихъ сестеръ, которыя такъ и звали ее „мамой", воспитала, выучила и даже умѣла сдерживать буйнаго отца, который, какъ-то невольно, ей подчинялся. Вѣчная хлопотунья - работница,

она никогда, казалось, не знала устали, грусти, хандры и управляла домомъ, никогда не поднимая даже голоса. Все какъ-то ее слушалось и подчинялось само собою, безъ принужденія,—все относилось къ ней любовно и съ невольнымъ уваженіемъ...

Только одна Ѳекла кухарка позволяла было себѣ ворчать на своего „ангела-барышню“ за то, что та, какъ будто, совсѣмъ „и не барышня“, о себѣ совсѣмъ не заботится за младшими сестрами и, „точно старуха какая“,— о женихахъ и гадать не хочетъ...

— Ровно-бы вы ужъ и не невѣста, барышня!—ворчала Ѳекла.—Ровно-бы, молъ, хуже другихъ... Совсѣмъ какъ есть напротивъ... Жениховъ-то отбою не было-бы, кабы вы только не сурьезничали да въ старухи не наровили...

Но Машенька только улыбалась въ отвѣтъ, — такія мысли, казалось, совсѣмъ не укладывались въ ея красивой головкѣ. Такія мысли и у насъ не укладывались... Машенька —невѣста, Машенька — предметъ страстной любви—казалось абсурдомъ. Она могла быть сестрой, „мамой“, свѣточемъ, совѣстью,—но невѣстой!... Она!? Монашка!? Нѣтъ,—намъ это тоже не приходило въ голову. За своей любовью всѣхъ, за своими цѣлями и культомъ она не оставляла себѣ самой ничего, чего-бы,

казалось, хотѣла и желала, ничего личнаго и теряла, такимъ образомъ, всѣ свойства и характеръ „личности“. Въ глазахъ каждаго она являлась скорѣе живымъ образомъ нравственной красоты, чѣмъ женщиной.

Потерявъ отца и получивъ свое наслѣдство, когда ей было уже около 23 лѣтъ, она всѣ свои 5 тысячъ отдала другимъ, вѣря, что эти деньги пойдутъ на доброе дѣло... Сама она,—ея сестры были уже пристроены,—сама она поселилась въ мансардѣ, стала ходить на курсы, а хлѣбъ и чухонское масло—потому что ничего другаго у нея никогда не было—она заработывала иглой и грошовымъ урокомъ. Все, что оставалось отъ хлѣба и масла и, высшаго и рѣдкаго баловства — „чая,—она несла другимъ, своимъ „несчастнымъ“... Но, что всего страннѣе, этотъ хлѣбъ и масло, эти скупые настои чая съ ней дѣлили и другіе, ихъ доставало и на тѣхъ, кто заходилъ къ ней голоднымъ... Какъ она это умѣла дѣлать,—оставалось ея секретомъ...

Я и теперь еще помню, какъ она въ своей крошечной свѣтелкѣ, глядѣвшей такъ мило и уютно, сама крошечная, одѣтая въ свое вѣчно одно и тоже и вѣчно чистенькое сѣрое платьице, любовно и мягко встрѣчала меня и другихъ вопросомъ:—„ужъ навѣрное голодны, ужъ правда голодны!“—и, бросая иглу или

книгу, указывала намъ на хлѣбъ и масло... Я всегда отвѣчалъ „да“, подходилъ къ ея столу и вытаскивалъ изъ кармана то купленныя по дорогѣ яйца, то кусокъ колбасы или что нибудь другое, и Машенька сейчасъ-же начинала укоризненно качать головой.

— Ахъ, буржуа, ахъ, буржуа!—Ахъ, какой вы буржуа, Павелъ!—приговаривала она, глядя на меня не то съ улыбкой, не то съ мягкимъ укоромъ.—Не можетъ безъ лакомствъ! Ужъ не хотите-ли еще сигару и кофе?!

Сигара и кофе! Это былъ мой грѣхъ, моя ахиллесова пята, моя слабость, съ которой я часто тщетно боролся и за которую Машенька и прозвала меня далеко нелестнымъ эпитетомъ „буржуа“. Сигара и кофе значили: сластолюбіе, чревоугодничество, преступное баловство, котораго не знаетъ народъ—и потому я былъ „буржуа“... Въ то время, это было очень обидное слово... Но въ устахъ Машеньки оно не звучало обидой... Глубокой лаской свѣтились ея глаза, немного насмѣшливой или, скорѣй, смѣющейся лаской, и въ тонѣ ея голоса слышался тотъ матерински-нѣжный укоръ, съ которымъ мать шутя говоритъ шалуну сыну: „ахъ, какой ты драчунъ!“ Разъ даже, когда я провалялся двое сутокъ больной, слегка простудившись, и товарищи, сложивши послѣдніе гроши, баловали

меня клюквеннымъ морсомъ, Машенька сама принесла мнѣ копѣечную сигару.

— На-те ужъ, курите!.. Только выздоравливайте скорѣе, буржуа! — говорила она, хмуря брови и стараясь быть суровой, но тутъ-же улыбнулась, когда я съ нѣгой закурилъ свое „преступное баловство“.

— Ахъ, какой вы буржуа!.. Сейчасъ и просіялъ весь!..

Признаться, я любилъ это „буржуа“ и даже порою нарочно на него набивался... Это слово какъ-то невольно выдѣляло меня изъ общей среды ея друзей, дѣлало меня не „всѣми“, а „однимъ“, а съ другой стороны — тонъ, которымъ она произносила свое ворчливое „буржуа“, ясно свидѣтельствовалъ, что, не смотря ни на что, Машенька относится ко мнѣ и тепло и любовно... Я даже любилъ ее поддразнивать своей „буржуазностью“ и пользовался для этого каждымъ случаемъ... Тащимся мы, бывало, съ Петербургской стороны и я непремѣнно наровлю посадить ее на извощика, ставя ребромъ послѣдній пятіалтынный. Машенька ворчитъ на этотъ самый страшный буржуазный грѣхъ („Господи, — да вы съума сошли?! Кататься на извощикахъ!“) — но садится, потому что я увѣрю ее, что уѣду одинъ, — все, молъ, равно погибнетъ пятіалтынный... Садится, ворчитъ, сто разъ повто-

ряетъ свое „ахъ, буржуа“, увѣряетъ, что это въ послѣднiй разъ она согласилась, что она сойдетъ и т. д., а я напущу на себя угрюмый видъ и начну ее упрекать, что она меня разоряетъ...

— Я васъ разоряю?!

Машенька вздрогнетъ, поблѣднѣетъ и въ испугѣ останавливаетъ на мнѣ въ упоръ свои темные, честные глаза...

— Я васъ разоряю, Павелъ!?.

— Ну, да, конечно, разоряете!—ворчу я, чуть сдерживая хохотъ. — Сегодня извощикъ, на дняхъ ветчины фунтъ... Тамъ, если помните, молоко...

— Да развѣ я васъ не браню сама за это?!

Но тутъ я не выдерживаю и начинаю хохотать... Машенька соображаетъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, и тоже смѣется...

— Ахъ, вы, буржуа!.. Настоящiй буржуа!.. Самъ-же франтитъ, а послѣ еще и попрекаетъ другихъ!.. Ну, какъ-же не буржуа!...

Такъ вотъ, только Машенькѣ открывалъ я свою святыню... Она терпѣливо и съ интересомъ слушала мои романы,—ея одной я не стыдился. По цѣлымъ часамъ читалъ я ей эти толстыя тетради и часто она вмѣшивалась въ дѣйствiе, страстно моля пощадить понравившуюся ей героиню, которую авторъ приводилъ къ трагическому концу, или наказать,

непремѣнно наказать злодѣя, который въ повѣсти оставался торжествующимъ... Я спорилъ, горячо спорилъ, но, правду сказать, всегда передѣлывалъ такъ, какъ хотѣлось Машенькѣ... И, право, всегда вещь становилась лучше отъ этихъ исправленій, — на сторонѣ Машенькинаго чутья всегда оказывалась правда... Одному только я не могъ и не хотѣлъ вѣрить—ея увѣреніямъ, что у меня есть проблески дѣйствительнаго таланта. Я краснѣлъ, начиналъ волноваться и даже сердиться.

— Да, да,—настаивала Машенька. —Конечно, все это еще не обработано, растянуто, но, все-таки, хорошо... Вы должны беречь себя, Павелъ... Право, вы будете писателемъ...

— Что вы, Машенька, что вы! — конфузился я.—Какой я писатель?! Это все такъ себѣ... Я и не думаю быть писателемъ,—вы знаете, я хочу...

Но Машенька настаивала на своемъ.

— Спросите другихъ, если не вѣрите мнѣ... Отчего вы не снесете что нибудь въ редакцію?!.

Тутъ я вскакивалъ.

— Въ редакцію!? Я!?. Да что вы, Машенька!.. Развѣ такія вещи могутъ напечатать!..

— А отчего-же не могутъ!? Печатаютъ вещи гораздо хуже... Попробуйте снести въ редакцію!..

Но я даже и думать не могъ объ этомъ, я только краснѣлъ, ибо, казалось, совсѣмъ не вѣрилъ въ себя... Быть „писателемъ", „печататься" — казалось мнѣ тогда чѣмъ-то такимъ великимъ и недосягаемымъ, что всѣ настаиванья и увѣренья Машеньки не приводили ни къ чему.

Такъ тянулось дѣло, пока я не написалъ разсказъ, который, я знаю, нравится вамъ и который, напечатанный въ числѣ другихъ, далъ мнѣ имя... Какъ я его написалъ, какъ все это у меня вышло,—я и теперь не могу дать себѣ яснаго отчета... Помню только, что состояніе мое тогда было особенное, совсѣмъ иное, чѣмъ когда я сочинялъ свои романы... Я возвращался къ себѣ на закатѣ, и всю дорогу меня преслѣдовали какъ-бы внезапно откуда-то взявшіеся образы... Сначала они были неясны, затѣмъ становились все яснѣе и яснѣе, все болѣе властно подчиняли себѣ мои мысли, наконецъ, встали предо мною до того ясно, что изъ-за нихъ я ничего не видѣлъ, не слышалъ, не понималъ и, всецѣло поглощенный ими, все ускоряя и ускоряя шаги, летѣлъ къ себѣ, какъ съумасшедшій... Помнится, по тѣлу пробѣгалъ у меня какой-то странный холодъ,

похожій на ознобъ, иногда нервно стучали зубы... Придя къ себѣ, я поспѣшно зажегъ лампу дрожавшими руками и сѣлъ писать... Что я писалъ, какъ писалъ,— я не знаю, или не помню... Право, мнѣ кажется теперь, что я писалъ безсознательно, что рука двигалась сама собою, помимо моей личной воли, какъ сами собою текли мои мысли, лились слова, цѣпляясь сами собой одно за другое, и вставали картина за картиной. Помню только, что иногда я вскакивалъ, весь дрожа, нервно дѣлалъ нѣсколько шаговъ по горенкѣ, вновь садился, точно въ какомъ-то чаду, и все время курилъ и курилъ, бросая окурокъ за окуркомъ... Иногда я останавливался, потому что меня пронималъ все тотъ-же странный ознобъ, и рука моя дрожала тогда, какъ въ лихорадкѣ... Я не зналъ времени, я совсѣмъ не сознавалъ, гдѣ я...

Когда я кончилъ, на дворѣ стоялъ уже ясный разсвѣтъ... Ни сна, ни малѣйшаго утомленія я не чувствовалъ... Напротивъ, я чувствовалъ себя необычайно легко и счастливо...

Я чувствовалъ себя такъ, точно съ груди моей скатилась вдругъ стопудовая гиря... И еще одно помню: — я вдругъ потерялъ свой стыдъ!.. Да, этой новой своей вещи я почему-то уже не стыдился!.. Мнѣ казалось, что

я способенъ былъ выйдти съ нею на улицу и прочесть ее встрѣчнымъ, не стыдясь и не краснѣя.?. Приди ко мнѣ всѣ мои друзья, я навѣрное сказалъ-бы имъ:—вотъ что я написалъ!—и прочелъ-бы вслухъ. Было-ли это магическое дѣйствіе дѣйствительнаго вдохновенія или что другое,— не знаю, но такое странное явленіе—было фактъ.

Я легъ, не раздѣваясь, но не спалъ, потому что сонъ не приходилъ, потому что все еще меня продолжало какъ-то странно знобить. Лежа, я курилъ и рука моя, державшая папиросу, все еще дрожала и дрожала... Наконецъ, я, какъ-то незамѣтно, заснулъ и проснулся только къ вечеру...

Я взялъ рукопись и пошелъ съ ней прямо къ Машенькѣ. У меня вдругъ почему-то проснулась неодолимая, совершенно новая потребность огласить написанное, подѣлиться имъ съ другими, и эта потребность заглушала собою прежнюю застѣнчивость... У Машеньки я засталъ цѣлую толпу нашихъ друзей, но я, право, не сконфузился, не растерялся, а сказалъ очень просто и спокойно:

— Я написалъ, господа, одну вещицу... хотите прослушать?..

Всѣ переглянулись недоумѣвающе и удивленно. Машенька даже раскрыла широко свои

глазки, но я не обратилъ на это никакого вниманія.

— Да, господа?

— Конечно, конечно!—отозвались всѣ хоромъ, все еще точно не вѣря своимъ ушамъ, но я разворачивалъ свою рукопись, даже не дождавшись этого „конечно“.

Я покраснѣлъ и немного сконфузился только вначалѣ... Затѣмъ я какъ-будто овладѣлъ собою и весь вошелъ въ чтеніе, въ свой разсказъ... Я немного спѣшилъ, но читалъ все свободнѣе и свободнѣе, всецѣло забывая о другихъ... Не знаю, понималъ-ли, сознавалъ-ли я самъ, что читалъ... Можетъ быть—нѣтъ... Кажется, я только слышалъ свое чтеніе, слышалъ однимъ слухомъ, но сердце мое стучало особенно сильно,—это я помню... Наконецъ, передъ глазами мелькнула послѣдняя строчка, и я вновь почувствовалъ, какъ съ плечъ моихъ скатилась свинцовая гиря.

Кругомъ царила мертвая тишина. Ни звука, ни движенія... Я поднялъ глаза на Машеньку,—она сидѣла, точно окаменѣвъ, и по щекамъ ея текли крупныя слезы... Я обвелъ глазами всѣхъ,—всѣ лица были блѣдны, всѣ глаза уставились на меня съ какимъ-то изумленіемъ. Мое сердце какъ-то странно забилось и вдругъ я почувствовалъ, что задыхаюсь и

блѣднѣю... Это было, другъ мой,— торжество!..

— Павелъ!.. Да ты, братъ, талантъ! — крикнуло два, три, пять, сотни, казалось, голосовъ разомъ, но я уже вскочилъ, бросилъ рукопись, вспыхнулъ вновь, задрожалъ и, какъ съумасшедшій, самъ не зная зачѣмъ, бросился вонъ... Я бѣжалъ, задыхался, останавливался и снова бѣжалъ...

На другой день утромъ ко мнѣ явилась Машенька и объявила, что снесла рукопись въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ" и что за отвѣтомъ мнѣ сказано придти черезъ недѣлю... Я принялъ это извѣстіе очень спокойно, точно иначе и быть не могло, и, помню, самъ удивлялся этому спокойствію... Но затѣмъ?!.. Эта жестокая, ужасная недѣля!.. О, еслибы редакторы-издатели журналовъ сами были писателями,—они, навѣрное, мягче обращались бы съ начинающими, переживающими эти ужасныя „первыя недѣли" и робко, чуть дыша, еле чувствуя подъ собою землю, спѣшащими къ нимъ за роковымъ отвѣтомъ... Дней недѣли, я не помню,— ихъ, кажется, совсѣмъ у меня и не было,—была одна томительная, долгая пытка ожиданія... Иногда я гадалъ, что дѣлается въ данный моментъ съ моей рукописью, иногда горѣлъ полной увѣренностью, то вдругъ терялъ всякую на-

дежду и мучился отчаяніемъ... Иногда мнѣ казалось, что подо мною протянуты громадные вѣсы, что я стою на одной чашкѣ, что на другую кладутъ гири, чтобы взвѣсить мое „я“ и опредѣлить роковымъ образомъ его будущее... Вы сами пишете, сами начинали, ну, и сами, значитъ, знаете, что это за пытка...

Но было еще нѣчто, что меня и смущало и приводило почти въ трепетъ, нѣчто, чего вы совсѣмъ не знали, такъ какъ начали писать сравнительно недавно. Я зналъ, что черезъ нѣсколько дней я буду стоять лицомъ къ лицу съ тѣмъ, при одномъ имени кого склонялись наши молодыя головы, буду говорить съ тѣмъ, предъ окнами кого мы выстаивали иногда цѣлые часы, чтобы уловить его выходъ на улицу или хоть одинъ силуэтъ за стекломъ оконной рамы... Вы догадались, конечно, что я говорю о покойномъ Некрасовѣ, и понимаете мои чувства и состояніе.

И этотъ роковой день, наконецъ, пришелъ... Какъ подошелъ я къ дому на Бассейной — все равно,—но, входя, я почувствовалъ, что блѣднѣю все больше и больше, что земля какъ будто уплываетъ подъ моими ногами. Бородатый лакей спросилъ мое имя,—я выговорилъ съ трудомъ и черезъ минуту стоялъ лицомъ къ лицу съ поэтомъ.

Было еще очень рано, и въ редакцiонной комнатѣ, наполовину занятой билліардомъ, никого, даже секретаря, кромѣ насъ двоихъ, не было. Некрасовъ взглянулъ на меня бокомъ, какъ-то изъ подлобья и точно пронизалъ этимъ взглядомъ.

— Я прочиталъ вашу вещь, и мы ее напечатаемъ! — глухо проговорилъ онъ прямо въ упоръ, не спуская съ меня пронизывающаго взгляда.—Радъ васъ видѣть!..

Я почувствовалъ, какъ цѣлымъ потокомъ хлынула вся кровь мнѣ въ голову, какъ зажглись мои блѣдныя щеки...

— Садитесь... Давно начали писать!

Я сказалъ... Онъ распросилъ меня обо многомъ, и, когда я кончилъ, онъ насупился и заходилъ по комнатѣ, заложивъ руки.

— Конечно, не мнѣ отрывать васъ отъ того, куда влечетъ васъ сердце, — началъ онъ сурово и хмуро, какъ-бы ища словъ,—но я, все-таки, скажу вамъ: берегите себя... Изъ васъ можетъ выработаться писатель...

Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня пристально и прямо, и я точно окаменѣлъ отъ этихъ словъ и взгляда.

— Я не скажу теперь, что вы—талантъ,— продолжалъ онъ, стоя, — потому что у насъ опредѣлить это трудно... Нашихъ писателей часто хватаетъ только на одну или двѣ вещи...

Странно это,—но это такъ... Вонъ, хоть Кущевскій: написалъ одну очень хорошую вещь, а дальше и ничего!... Судьба ужъ видно у насъ такая... Но, все-таки, повторяю вамъ: изъ васъ можетъ выработаться писатель и вы поберегите себя... У васъ есть чувство, вы умѣете любить и...—онъ улыбнулся.

— И кусаться!—добавилъ онъ, все также улыбаясь, причемъ его глаза сверкнули мнѣ изъ подъ сдвинутыхъ бровей ласковой и мягкой улыбкой.

А я сидѣлъ и не вѣрилъ, казалось, самому себѣ, своему счастью,—не вѣрилъ:—мои ли уши слышатъ, мои ли глаза видятъ... Но я не спалъ, не грезилъ,—великій поэтъ, разбудившій наши сердца и затепливпій въ нихъ святыя искры любви и вѣры,—дѣйствительно предо мной,—и вы сами поймите мое состояніе... Другъ мой,—про насъ говорятъ, что мы вообще отрицали авторитеты... Я, конечно, не хочу спорить, но я все таки сдѣлаю малую оговорку... Что бы тамъ ни говорили, своихъ великихъ людей мы умѣли цѣнить, мы умѣли быть благодарными и въ грязь ихъ не топтали... Тѣхъ, что учили насъ любить и мыслить мы ставили такъ высоко, какъ имъ, конечно, никогда и не снилось, а пыль, пристававшую къ ихъ подошвамъ,—потому что они, какъ и всѣ, ходили по землѣ,—мы умѣ-

ли отдѣлять отъ ихъ свѣтлаго духовнаго образа... И потому, пока говорилъ Некрасовъ я только слухомъ, казалось, ловилъ его слова... Внутри копошилась такая масса смѣшанныхъ чувствъ восторга, благодарности и любви къ родному поэту, такъ рвались они наружу, такъ много хотѣлось сказать устамъ, скованнымъ такой массой, что я только то блѣднѣлъ, то краснѣлъ... А онъ все говорилъ; говорилъ о значеньи литературы; о долгѣ писателя... о... ну, да о многомъ...

Когда я всталъ, онъ, не выпуская моей руки, спросилъ меня уже совсѣмъ мягко и просто:

— Вамъ нужны деньги?

Вмѣсто отвѣта, я вспыхнулъ.

— Ну, да, конечно!—продолжалъ Некрасовъ, улыбаясь.—Я заплачу вамъ на первый разъ по 75 руб. за листъ,—подождите...

Онъ вышелъ въ сосѣднюю комнату и вынесъ сторублевую бумажку.

— Вотъ вамъ пока за листъ... У васъ нѣтъ сдачи?

— Нѣтъ!... улыбнулся и я на его улыбку.

— Тѣмъ лучше... Возьмите всѣ... Тамъ ужо сочтемся!...

Теперь вы и сами нарисуете себѣ мое состоянiе, то счастливое, безпредѣльно-счастливое состоянiе, какое рѣдко повторяется въ

жизни... Голова у меня кружилась, сердце билось учащенно, я куда-то шелъ, все еще судорожно сжимая въ рукѣ первую собственную радужную бумажку, а въ груди у меня царилъ какой-то необъятно-счастливый покой, безмятежность, лишенная всякихъ тревогъ и сомнѣній... Я все шелъ и что-то насвистывалъ, какъ молодой щегленокъ, когда солнце, прорвавшись сквозь нависшія сѣрыя тучи, оживитъ все окрестъ своими свѣтлыми, благодатными лучами... Я не думалъ, ровно ничего не думалъ, а все только шелъ и шелъ... Да и что могъ-бы я думать?! Если-бы мнѣ протянули самую роскошную діадему, если-бы всѣ блага міра повергли къ моимъ ногамъ,—я отвернулся-бы равнодушно, прошелъ бы мимо, даже не замѣтивъ, потому что, мнѣ казалось, я имѣлъ больше, неизмѣримо больше... Я помню, въ это прелестное майское утро мнѣ все улыбалось—и солнце, и стѣны домовъ, и Нева, на набережной которой я вдругъ очутился, и воздухъ, и рѣявшія въ немъ ласточки, щебетавшія мнѣ, казалось, все то, что за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ говорилъ поэтъ... Я самъ улыбался всему, насвистывалъ что-то и все шелъ и шелъ...

Опомнился я и остановился только передъ крошечнымъ мезониномъ Машеньки... Какъ я дошелъ до него,—я, казалось, и самъ не

могъ дать себѣ отчета... Я вздохнулъ счастливо и присѣлъ на ступеньку деревяннаго крыльца. И тутъ меня сейчасъ-же осѣнила веселая и счастливая мысль: кутнуть, накормить вѣчно голодную Машеньку роскошнымъ обѣдомъ.

Я поднялся и, напустивъ на себя для этого спокойный и серьезный видъ, вошелъ къ ней въ свѣтличку.

— Ну, что? — бросилась она ко мнѣ въ тревогѣ и нетерпѣніи.—Что въ редакціи?!

— Ничего, Машенька,—отвѣтилъ я совершенно безучастно, точно меня это нисколько не занимало.—Приняли и напечатаютъ...

— Приняли и напечатаютъ!?.—Она даже вздрогнула отъ восторга.

— Да...

— Что-же вы, какъ будто, не радуетесь?

— Какъ не радуюсь, Машенька, — очень радуюсь!—продолжалъ я, все больше и больше напуская на себя этотъ тонъ безучастья.— Но что-же тутъ такого особеннаго?!..

Машенька недоумѣвающе таращила на меня свои глазки.

— И вы видѣли Некрасова?

— Да, видѣлъ...

— Что-же онъ говорилъ вамъ?

— Онъ сказалъ, чтобы я берегъ себя, что изъ меня можетъ выработаться писатель!..

— Писатель!—Машенька захлебнулась.

— Да...

— Но что это съ вами сегодня? Отчего вы такой?!—въ недоумѣньи и тревогѣ оглядывала она меня съ ногъ до головы.

— Какой—такой?!

— Да неестественный какой-то... Загордились?

Я сконфузился.

— Что вы, Машенька... что вы!.. Просто, одно важное дѣло, которое важнѣе всякаго писательства!—вралъ я.

— Дѣло?!.. Машенька встревожилась и насторожилась.

— Да... Тутъ одинъ знакомый пріѣхалъ... былъ у нашихъ друзей!—вралъ я, самъ не зная что.—Рѣшили собраться вмѣстѣ и поручили мнѣ привести непремѣнно васъ.

— Кто-же это такой?—Какое дѣло?—все болѣе и болѣе тревожилась Машенька, никогда не подозрѣвавшая лжи.

— А вотъ увидите,—это пока секретъ... Пойдемъ-же!..

Машенька въ тревогѣ стала оправлять свое сѣренькое платье, быстро приколола свой единственный черный бантикъ и взялась за шляпку, держа въ зубахъ булавку.

— Такъ вы теперь *писатель*!—сказала она сквозь зубы, вновь загораясь весельемъ и кидая на меня мягкій, веселый взглядъ.

— Да, Машенька, да... Пойдемъ!..

— Ну, пойдемъ, *писатель*! — улыбаясь, подчеркнула она.

Мы вышли... Мнѣ очень хотѣлось шутить съ Машенькой и я нарочно предложилъ ей вдругъ руку.

— Что?—почти вскрикнула она.

— Давайте, Машенька, руку!..—отвѣтилъ я важнымъ, напускнымъ тономъ.

— Руку!... Я—руку?! Да что это съ вами сегодня?—не на шутку удивилась она.

— Очень просто!..—вралъ я въ томъ-же тонѣ.—Теперь я писатель... перезнакомился со всѣми... Я могу съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться... Неловко-же будетъ, когда увидятъ со мной барышню, которая такъ отчаянно размахиваетъ руками... Давайте руку!—говорилъ я, чуть сдерживая улыбку.

Къ моему удивленію, Машенька не сопротивлялась... Я взялъ ее подъ руку, но черезъ минуту она спохватилась, вспыхнула и стала вырываться, повторяя:—нѣтъ, это глупо, это чортъ знаетъ что такое... Пустите, Павелъ, пустите!

— Ни за что, Машенька! — говорилъ я, крѣпко прижимая ея руку локтемъ.—Ни за что! Тише, Машенька, тише... Насъ могутъ замѣтить!..

Волей-неволей, она покорилась, но стала ворчать, что она не умѣетъ идти подъ руку и что я тащу ее слишкомъ быстро... Я убавилъ шагъ и повернулъ на островъ.

— Куда-жъ вы это меня тащите, Павелъ?

— Въ гостиницу, Машенька,—они рѣшили собраться въ гостиницѣ...

— Въ гостиницѣ??..—совсѣмъ испугалась Машенька.—Въ какой гостиницѣ?..

Я и самъ не зналъ, въ какой, потому что до сихъ поръ не имѣлъ никакого понятія о гостиницахъ и ресторанахъ... Къ моему счастью, на углу одной изъ линій ярко сверкнули золотыя буквы вывѣски—„Лондонъ“...

— Вотъ куда, Машенька... Въ „Лондонъ!“

— Но тамъ, вѣроятно, все страшно дорого?

— Нѣтъ, нѣтъ!

Мы вошли... Это былъ ресторанъ средней руки съ запыленными старыми люстрами и бра, съ порыжѣвшими и полинявшими мебелью и гардинами,—но намъ съ Машенькой онъ показался, конечно, роскошнымъ palazzo... Она видимо совсѣмъ оробѣла, сконфузилась и потому прижималась ко мнѣ. Когда мы сѣли за столъ, она сейчасъ-же спросила:

— А гдѣ же другіе?..

— Они придутъ, Машенька!.. Человѣкъ, обѣденную карту!...— крикнулъ я не хуже любаго франта.

Машенька опять уставилась на меня не то испуганно, не то недоумѣвая. Полинявшій лакей, въ полинявшемъ фракѣ, подалъ мнѣ карточку съ обѣдами отъ 30 коп. до 1 руб.

— По рублю-съ? — недовѣрчиво переспросилъ онъ, когда я отмѣтилъ ему по карточкѣ.

— Да!

— Два обѣда-съ!?

— Ну, конечно!

Изумленная Машенька вспыхнула отъ негодованья.

— Вы съума сошли, Павелъ!.. Что это значитъ?!

— А это значитъ, Машенька, что такъ надо!

— Два рубля на обѣдъ, когда тамъ есть въ 30 коп.?

— Такъ нужно!..

— Да зачѣмъ нужно?.. Что все это значитъ?

— А вотъ увидите...

— Я не буду ѣсть... это преступленіе... Два рубля, когда кругомъ... нѣтъ! — Да откуда у васъ деньги?!

— Мнѣ дали въ редакціи...

— Дали въ редакціи!—негодовала Машенька.—Дали въ редакціи!.. Что же, развѣ вы не могли сдѣлать изъ нихъ лучшаго?

— Не могъ!..

— Это—Богъ знаетъ что; вы говорите все какими-то загадками... Я не буду ѣсть, ни за что не буду... Слышите, буржуа, чистѣйшій буржуа,—я не буду!..

Но она ѣла... Когда подали, какъ теперь помню, зеленый супъ изъ щавеля, такой красивый и вкусный на видъ, она вновь вспыхнула, заворчала, колеблясь, взяла ложку и, обзывая меня „буржуа", все таки не устояла и стала ѣсть... Съ каждой ложкой она ѣла все смѣлѣе и смѣлѣе, хотя ворчала и обзывала меня по прежнему... За супомъ также пошло другое, третье, и Машенька все ѣла и ѣла, ворча, негодуя, но не чувствуя видимо силъ справиться съ проснувшимся аппетитомъ... Плоть оказалась сильнѣе духа, и я, ликуя, полный счастья, любовался ею, ея ворчаньемъ, негодованьемъ и аппетитомъ... Наконецъ, подали послѣднее—плохой маседуанъ изъ плохихъ засахаренныхъ фруктовъ въ стеклянныхъ чашкахъ, и Машенька всплеснула руками.

— Это преступленье, прямо преступленье, Павелъ!

Но и это „преступленье“ захрустѣло, въ свою очередь, на ея острыхъ, прекрасныхъ зубахъ... Когда всѣ „преступленья“ были уничтожены, за кофе я сталъ поддразнивать Машеньку...

— Ну, Машенька, теперь и вы „буржуа!“

— Какъ-такъ?!

— А рублевый обѣдъ?—развѣ этого мало!...

— Да, вѣдь, это все вы! — искренно оправдывались она, краснѣя и волнуясь.—Развѣ я хотѣла?..

—Да, все я!—съ дѣланной обидой въ тонѣ, ворчалъ я ей въ отвѣтъ.—Все я... Это самое удобное—сваливать все на другихъ.

Машенька сконфузилась до-нельзя и выглядѣла совсѣмъ виноватой, не зная, какъ отнестись къ моимъ словамъ. Я сталъ ее успокоивать и признался въ всемъ... Никакого дѣла не было, а я просто хотѣлъ съ нею кутнуть на первый гонораръ... Она сначала, какъ будто, разсердилась, потомъ вспыхнула и кончила тѣмъ, что разсмѣялась.

— Ахъ, вы, буржуа... безсовѣстный буржуа!

Тутъ мнѣ подали сдачу со ста рублей.

— Вамъ дали цѣлыхъ сто рублей!—точно не вѣря своимъ глазамъ, спросила Машенька.

— Да...

— Далъ Некрасовъ? Неужели?

— Да.

— А говорятъ, что онъ...

— Мало-ли что, Машенька, говорятъ про великихъ людей—дурные люди...

Машенька замолчала, а я протянулъ ей всѣ деньги.

— Вотъ, Машенька, — я хотѣлъ съ вами кутнуть на этотъ первый гонораръ, а теперь остальное, кромѣ этой мелочи, которую беру себѣ, я отдаю въ ваше распоряженіе для „несчастныхъ"!..

Машенька вспыхнула отъ восхищенья, глазки блеснули, ручка протянулась къ деньгамъ— и вдругъ остановилась... Въ лицѣ ея промелькнуло что-то въ родѣ жалости.

— Что-же вы, Машенька?!

— Нѣтъ, нѣтъ, — заговорила она быстро, спѣша и все больше конфузясь,—нѣтъ, я не возьму... у васъ не возьму...

— Почему это?!—невольно удивился я.

— Нѣтъ,—не возьму...Вамъ самимъ надо... Вы теперь писатель, вамъ нужны знакомства, а у васъ ничего нѣтъ—ни бѣлья, ни платья... Нѣтъ, нельзя, Павелъ! Вы должны подумать и о себѣ... Не возьму!

— Это мое дѣло, а не ваше, Машенька!— обидѣлся я.—Имѣю же я право распоряжаться тѣмъ, что принадлежитъ мнѣ?!

Мы стали спорить, и Машенька согласилась, наконецъ, взять только часть... Конфузязь, она робко отсчитала 25 и остановилась...

— Будетъ, Павелъ!

— Нѣтъ, ни за что! Берите еще!

— Право, будетъ! — просто упрашивала она меня.

— Ну, хоть на половинѣ помиримся, Машенька!

Она согласилась и отсчитала половину, вся красная и кидая на меня добрый, благодарный и вмѣстѣ участливый взглядъ...

Мы вышли и по дорогѣ зашли въ небольшой скверъ, гдѣ, кромѣ насъ, не было ни души.., Теперь уже безъ всякаго сопротивленія дала мнѣ Машенька свою руку и шла, прижавшись ко мнѣ. Мы что-то смѣясь, говорили, но что—не помню, только знаю, что хорошее, потому что оба чувствовали себя какъ-то особенно хорошо... Вдругъ она вспомнила, что обѣщала навѣстить больную подругу.

— Ну, спасибо, Павелъ, и до свиданья!

Машенька остановилась и улыбнулась...

— А, все-таки, вы—буржуа!

Она улыбалась глазами, улыбалась вся, всѣми фибрами своего добраго, красиваго лица... Изъ-за крѣпости поднималась, какъ-бы грозя, черная туча, погромыхивалъ уже далекій

громъ, но надъ нами свѣтило еще солнце и обливало насъ потоками ласковаго, весенняго свѣта... Это улыбающееся „буржуа“ прозвучало мнѣ какой-то особенной лаской... Я невольно поднялъ глаза, поймалъ взглядъ Машеньки, и тутъ только—наивный глупецъ—почувствовалъ я вдругъ и понялъ, что я ее люблю, давно, глубоко, сильно люблю и любимъ тоже ею.

— Машенька!

Задыхаясь отъ прилива самого глубокаго счастья, я протянулъ руки... Она не сопротивлялась, только вспыхнула вся до своихъ крошечныхъ ушей... Я прижалъ ее къ себѣ и, весь дрожа, волнуясь, точно въ забытьи, шепталъ ей все одно и то-же слово: люблю, люблю, люблю... Она прильнула ко мнѣ и шептала то-же... Но вдругъ она вырвалась и выскользнула изъ моихъ рукъ.

— Ну, будетъ, дорогой! Довольно!

Лице ея стало серьезно, брови нахмурились... Вся блѣдная, она тяжело дышала.

— Будетъ, Павелъ!.. Наши дороги разныя!...

— Что?!

— Наши дороги разныя... — повторила она.— Вы должны оставаться здѣсь, беречь себя,—дблжны стать писателемъ и служить всѣмъ людямъ словомъ своимъ, а я...

— А вы!?—крикнулъ я въ испугѣ, хватая ее за руку.

— А я пойду въ деревню... Я потону въ ней, Павелъ...

— Нѣтъ, Машенька! Вы будете моей женой... Мы пойдемъ и потонемъ вмѣстѣ...

Въ безумномъ почти страхѣ за свое счастье, которое тутъ же разбивалось, я крѣпко, до боли сжалъ ея крошечныя рученки... Но она вырывалась, повторяя :пустите, пустите!.. Задыхаясь, я шепталъ ей, что она меня убиваетъ, что мнѣ больно...

— А мнѣ, Павелъ, развѣ сладко?—перебила она меня чуть слышно, и въ тонѣ ея вопроса я услышалъ готовыя вырваться слезы.

— Зачѣмъ же дѣлать такъ?!

— Потому, что дороги наши разныя... У васъ есть талантъ и вы должны беречь его, потому что онъ принадлежитъ не вамъ, а вашему народу... Мы стѣснимъ другъ друга...

— Все это вздоръ, Машенька!..

Я сжималъ ея руки, тянулъ ее къ себѣ, но она вырывалась и шептала все одно и тоже... Она успокаивала меня, увѣряла, что я буду любить еще 20, даже 100 разъ, что ее я скоро забуду, что молодыя раны заживаютъ быстро, но на глазахъ ея дрожали слезки.

— Нѣтъ, нѣтъ, неправда!—говорили сами-собою въ отвѣтъ мои безжизненныя, казалось, губы.

Туча изъ-за крѣпости надвинулась совсѣмъ близко, грозная, темная, давящая... Громъ загрохоталъ, казалось, прямо надъ нами...

— Прощайте, Павелъ!.. Берегите свой талантъ и забудьте меня „монашку", какой я и останусь...

Она вырвалась и скользнула отъ меня, какъ тѣнь...

Я стоялъ на мѣстѣ, готовый разрыдаться, какъ ребенокъ,—слезы сжимали мнѣ уже горло, — готовый броситься и силой, во что бы то ни стало, удержать ее...

Минута,—и я догналъ-бы ее... Но вдругъ она сама остановилась, обернулась, подошла ко мнѣ, обняла мою шею руками и я почувствовалъ на щекѣ ея поцѣлуй или слезы...

— Прощай, Павелъ, и не сердись... Я люблю тебя тоже,—но такъ будетъ лучше! — шептала она мнѣ, глотая слезы. — Если ты любишь меня, не ищи со мною встрѣчи, — черезъ два дня я уѣду!..

— Зачѣмъ, зачѣмъ?..—говорилъ я , какъ въ чаду, прижимая ее къ себѣ и тоже глотая слезы. Я не зналъ, что дѣлать, что говорить ей, и только прижималъ ее все сильнѣе и сильнѣе... Она не сопротивлялась, при-

жималась ко мнѣ, положивъ голову на мое плечо, и тихо, беззвучно плакала... Но вдругъ она подняла голову и развела мои руки.

— Будетъ!

И она выскользнула снова, но остановилась на мгновенье, точно колеблясь и не рѣшаясь... Казалось, она еще что-то хочетъ сказать мнѣ, только не находитъ слова, ищетъ его или припоминаетъ... И вдругъ нашла... Она подняла на меня прямо въ упоръ свои добрые, честные глаза, полные грустной мольбы.

— Павелъ,—прошептала она мнѣ, — милый Павелъ!—Оставайся всегда честнымъ и люби свой народъ!

Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ... Много было пережито мною, во многомъ измѣнилась жизнь... Когда мнѣ подчасъ становится не подъ силу, когда и жизнь, и болѣзнь давятъ до того, что въ больной головѣ копошится преступная мысль: не покончить-ли все разомъ?—я какъ-то невольно вспоминаю Машеньку... И благодатное тепло снова наполняетъ мою душу и кажется, будто незримый хранитель святымъ своимъ крыломъ осѣняетъ меня отъ зла .. Гдѣ-же нибудь да живетъ Машенька на Руси, а гдѣ живетъ она — тамъ, конечно, живутъ и правда, и совѣсть!

ИЗЪ СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ.

БОЕВАЯ НОЧЬ

РАЗСКАЗЪ БОБЫЛЯ СКИТАЛЬЦА.

I.

Съ весны еще вся перія была на-сторожѣ. Фермеры то-и-дѣло готовились къ отпору, со-дня на-день ожидая нападенія индѣйцевъ, раздраженныхъ уже до послѣдней степени самовольнымъ захватомъ ихъ территоріи [1]) и другими самоуправствами со стороны бѣлыхъ. Ранней весной еще нѣсколько новыхъ піонеровъ, жадныхъ до хорошихъ земельныхъ участковъ, перешли „границу", поставили тамъ свои „блокгаузы" [2]) и стали рубить лѣсъ. Въ то время пограничное индѣйское пламя „оседжи" откочевало въ глубь и захватъ совершился благополучно, но всѣ отличио знали, что дѣло такъ не кончится, и втайнѣ ликовали. Всѣмъ, признаться, давно уже хотѣлось вызвать „краснокожихъ собакъ" на какой-нибудь

---

[1]) „Индѣйской территоріей" называется земля, спеціально-отведенная конгрессомъ однимъ индѣйцамъ, селиться на которой запрещено бѣлымъ закономъ, вѣчно однако нарушаемомъ послѣдними.

[2]) Блокгузъ — срубъ, наскоро сколачиваемый для жилья піонеромъ.

рѣзкій и острый шагъ, завязать драку, чтобы затѣмъ, конечно, засыпать конгрессъ жалобами и воплями на „дикаря, мѣшающаго мирной культурѣ, проливающаго неповинную кровь младенцевъ и женщинъ“ и т. д., добиться такимъ образомъ присылки союзныхъ войскъ, которыя оттѣснятъ этого дикаря дальше къ югу, и въ концѣ-концовъ овладѣть новой полосой земли, новыми дѣвственными участками. Это—старая, излюбленная тактика „молодцовъ запада“ съ охотникомъ-номадомъ или, по-просту, „краснокожимъ псомъ“. Послѣ жестокой рѣзни, индѣйцы волей-неволей принуждаются къ отступленію дальше въ глубь своей территоріи, проводится новая граница, не переступать которую бѣлые клянутся вновь и самымъ торжественнымъ образомъ, а за оставленную полосу земли конгрессъ гарантируетъ индѣйцамъ съ тѣхъ, кто займетъ новые участки, по доллару съ четвертью за акръ, которыя, пройдя чрезъ липкія руки чиновниковъ-агентовъ, выдаются обыкновенно индѣйцамъ въ видѣ гнилыхъ, хотя и очень яркихъ одѣялъ, плохихъ ружей, подмоченнаго пороху и бочекъ „виски“. Все это вмѣстѣ взятое называется „индѣйской политикой запада“, а въ устахъ краснорѣчивыхъ ораторовъ слыветъ за „побѣдоносное шествіе культуры“.

И ожиданія, конечно, очень скоро оправдались. Недѣли три послѣ захвата въ пограничный городокъ Сидертуанъ явился посолъ отъ индѣйцевъ, старый Рысій Глазъ, съ длиннымъ повисшимъ носомъ и трясущейся нижней губою. Онъ передалъ блѣднолицымъ требованіе своихъ „братьевъ“ уйдти съ земли, отведенной имъ конгрессомъ и самимъ „отцомъ блѣднолицыхъ“ для охоты, и напоминалъ торжественныя клятвы не переступать никогда пограничной черты. Но у „молодцовъ запада“, у которыхъ такіе длинные ножи и карабины, память, какъ иавѣстно, очень коротка, а слухъ не всегда тонокъ, О конгрессѣ и клятвахъ, поэтому, они упорно молчали, но за-то старый Рысій-Глазъ много слышалъ о библейскихъ завѣтахъ, завѣщавшихъ землю только тѣмъ, кто ее обрабатываетъ, а не тунеядцамъ, гоняющимся за буйволами и лосями. Много другихъ еше интересныхъ вещей услышало его ухо, пересыпанныхъ не однимъ десяткомъ полныхъ соли восклицаній по адресу его „братьевъ“, а когда онъ въ свою очередь вздумалъ сослаться на авторитетъ „Духа пустыни“, подарившаго отъ вѣка всю прерію однимъ краснокожимъ,—молодцы запада дали полную волю своей исконной страсти къ ироніи. Усомнившись въ самомъ существованіи этого Великаго Духа и въ возможности завѣщанія

кѣмъ бы то ни было земли „собакамъ“, а не человѣку, молодцы выказали столько пикантнаго остроумія, что у стараго индѣйца потемнѣло лицо, сдвинулись брови, носъ повисъ еще ниже, а губа затряслась сильнѣе... Онъ выпрямился и рѣзкимъ гортаннымъ голосомъ высказалъ увѣренность, что его обиженные братья съумѣютъ найдти свою правду... Это подлило въ огонь масла... Хохотъ удесятерился, иронія хлынула черезъ край и Рысьему Глазу остроумно предложили,—не пожелаетъ ли онъ немедленно отправиться за этой правдой къ своему Духу Пустыни съ помощью веревки, зацѣпленной однимъ концомъ за его старую шею, а другимъ за сукъ громаднаго орѣха... У стараго индѣйца блеснули глаза, онъ сердито сжалъ тонкія губы, поднялъ свой посохъ, быстро переломилъ его на двое, бросилъ одинъ конецъ на-право, другой — налѣво, повернулся и ровной, чуть слышной походкой, еле касаясь земли своими мокасинами, пошелъ назадъ. Въ догонку ему мчался здоровый хохотъ цѣлой толпы „молодцовъ“, масса остроумія и ѣдкой соли, но Рысій Глазъ не повернулся, точно не слышалъ, и быстро исчезъ въ кустахъ пограничнаго ручья.

Послѣ этого, конечно, оставалось ждать только „событій“, въ ожиданіи которыхъ вся прерія предусмотрительно чистила свои кара-

бины и пригоняла пули... Эти краснокожія собаки не замедлятъ явиться за „ремингтоновскими пилюлями“, въ жаждѣ которыхъ давно уже чешутся ихъ безмозглые, собачьи черепа! — Ого-го, не одинъ черепъ, чортъ побери, разлетится въ дребезги отъ такого свинцоваго гостинца, — зададутъ имъ перцу на долго! Вся прерія то и дѣло воинственно клялась и божилась, а толстый и богатый торговецъ Микель увѣрялъ всѣхъ и каждаго, что въ Германіи эту краснокожую сволочь усмирили бы однимъ взводомъ... Только бы дали ему въ команду одинъ взводъ, всего только одинъ взводъ 83-го Померанскаго герцога Альбертъ - Гансъ - Марія пѣхотнаго полка, въ рядахъ котораго онъ стоялъ при Гравелотѣ, — и онъ показалъ бы, что значитъ „бравый нѣмецъ“ и тонкій стратегъ! — Пифъ-пафъ, — бацъ—бацъ!... Ложись—вставай! — Вставай, ложись! — и скоро поняла бы эта „дрянь“, что значитъ истинная цивилизація! Да!!!

Воинственное настроеніе росло и росло, оттѣсняя на задній планъ всѣ насущныя заботы. „Сторожевые“ то и дѣло скакали взадъ и впередъ, зорко слѣдя за границей, ловя подозрительнымъ ухомъ каждый шорохъ, каждое движеніе, и мирно топтавшіеся въ высокой травѣ стада сластолюбивыхъ степныхъ курицъ не разъ, правду сказать, давали по-

водъ къ напрасной тревогѣ, усиливавшей только все возраставшее лихорадочное возбужденіе. Оно стало еще напряженнѣе, еще страстнѣе, когда, вслѣдъ за цѣлымъ рядомъ такихъ безобидныхъ тревогъ, молніей пронеслась вѣсть, что тамъ и сямъ видѣли кучки индѣйцевъ, выкрашенныхъ въ боевую краску [1]). Ближайшія къ границѣ фермы немедленно опустѣли, населеніе ихъ перекочевало вглубь, къ сосѣдямъ, а къ губернатору штата полетѣло донесеніе, что „дикари готовятся вырѣзать поголовно все населеніе бѣлыхъ“.

Но раньше, чѣмъ оно встревожило мирный сонъ губернатора въ его далекой Тупика [3]), въ ближайшую прелестную и тихую ночь, полную золотыхъ звѣздъ и лѣтней нѣги, дремавшая прерія озарилась дивной иллюминаціей... Потоки золотаго огня безшумно и тихо поднялись на горизонтѣ и потекли вверхъ по темному куполу къ зениту, гдѣ, разлившись въ громадное багровое зарево, заставили поблѣднѣть яркія звѣзды... Клубы тумана, окутывающаго по ночамъ безчисленные ручьи Канзаса, казались волнами ослѣпительно краснаго бенгальскаго огня, цѣлыми потоками разливши́гося тамъ и сямъ по преріи... Густой мракъ

---

[1]) Оседжи предъ походомъ выкрашиваютъ лицо и руки красной глиной. Эта краска служитъ признакомъ войны.

[2]) Столичный городъ Канзаса.

ночи улеталъ куда-то дальше и скрытые-было имъ островерхіе пики горъ, то фіолетовыхъ, то дымно-синихъ днемъ,—сверкали на горизонтѣ золотою цѣпью... Пламя разливалось все шире и шире, сверкало все ярче и ярче, выбрасывая подчасъ громадные фонтаны ослѣпительныхъ искръ, тучами клубившихся въ тихомъ, совсѣмъ неподвижномъ воздухѣ лѣтней ночи. Это подошли, наконецъ, долгожданныя „событія", — пылали зажженные индѣйцами блокгаузы піонеровъ!

— Милиція! мы имъ покажемъ!...

Этотъ кличъ облетѣлъ всю прерію изъ конца въ конецъ раньше, чѣмъ погасло еще пламя... „Молодцы", вооруженные чѣмъ попало, спѣшили въ Сидертаунъ, какъ сборный пунктъ, полные самой неутолимой ненависти къ врагу и самаго искренняго желанія размозжить въ отместку возможно большее число череповъ. Моя ферма была далеко въ сторонѣ. На разсвѣтѣ я рылъ у себя ямы для осенней посадки деревьевъ, когда, лихо осадивъ возлѣ меня свою пони, посланный гонецъ передалъ и мнѣ требованіе—явиться въ Сидертуанъ въ ряды милиціи.

— Вы холосты, сэръ!

— Да.

— Вы должны идти въ милицію...

— Хорошо... Развѣ будетъ походъ!

— Непремѣнно... Мы зададимъ, чортъ побери, этимъ собакамъ изрядную взбучку... До свиданья!

И, повернувъ на мѣстѣ свою пони, „молодецъ“ быстро исчезъ изъ вида.

II.

Къ назначенному часу я былъ уже въ городкѣ... Я былъ человѣкъ далеко не воинственный, къ индѣйцамъ относился иначе чѣмъ всѣ мои сосѣди, тѣмъ не менѣе въ этотъ „походъ“, признаться, собирался не безъ охоты. Мнѣ открывалась возможность ближе и тѣснѣе ознакомиться съ своими сосѣдями „янки“, для которыхъ я оставался до сихъ поръ чуждымъ пришлецомъ-новичкомъ, да и увидать настоящихъ индѣйцевъ, гордыхъ, независимыхъ, свободолюбивыхъ, а не „мирныхъ“, превращенныхъ культурой въ лѣнтяевъ-холоповъ, вымаливающихъ центы на водку, какихъ я до сихъ поръ только и зналъ. Перспектива и того и другаго была для меня очень заманчива... Къ тому же этотъ „походъ“ являлся первымъ общимъ дѣломъ, ставившимъ меня,

не имѣвшаго еще всѣхъ гражданскихъ правъ [1]), рядомъ съ полноправными гражданами союза, какъ равнаго съ равными.

На первый взглядъ можно было подумать, что въ городкѣ шла оживленная многолюдная ярмарка... Давка, суета, какая-то лихорадочная возня громадной толпы съѣхавшагося со всѣхъ концовъ народа—совсѣмъ преобразовали мирный и тихій городокъ. Множество запряженныхъ телѣгъ и верховыхъ лошадей наполняли его единственную широкую улицу и зады за домами и огородами; цѣлыя толпы „молодцовъ“ въ фланелевыхъ рубахахъ и высокихъ сапогахъ, со шляпами, воинственно опрокинутыми на затылки, съ револьверами и ножами за поясами и длинными карабинами за плечами, сновали взадъ и впередъ, съ жаромъ толкуя о событіяхъ ночи. — Краснокожимъ собакамъ нужно пойдти на встрѣчу и задать хорошій нагоняй, прежде чѣмъ они сами, чортъ побери, начнутъ снимать скальпы! За пожаръ отплатить пожаромъ, да кстати и попробовать, разрази ихъ громъ, насколько крѣпки у нихъ черепа!

— Нужно дать этой краснокожей сволочи хорошаго перцу на память!...

---

[1]) Права гражданства въ Соединенныхъ Штатахъ пріобрѣтаются переселенцамъ только по истеченіи пяти лѣтъ пребыванія въ предѣлахъ союза.

— Отогнать ихъ къ Вельзевулу, а самимъ занять ихъ землю!... Статочное ли дѣло, джентльмены, чтобы земля лежала пустыней, когда у добрыхъ людей чешутся руки, чтобы погладить ее плугомъ?! А?!

И на этотъ прямо и открыто поставленный вопросъ вся толпа, конечно, отвѣчала въ одинъ голосъ: вѣрно! вѣрно, чортъ побери!

— Кто же будетъ кэптеномъ?!

— А чортъ его знаетъ... Еще не выбирали...

— Говорятъ, Микель!...

— Микель, такъ Микель!... Право, не знаю кто!... раздавались голоса то тутъ, то тамъ. Этотъ Микель, кажется, служилъ *у своихъ* генераломъ, что ли?..-

— Не генераломъ. а полковникомъ...

— И не полковникомъ... Кажись, всего капраломъ...

— Чортъ его знаетъ, чѣмъ онъ служилъ тамъ! — вмѣшиваются новые голоса, — но эти нѣмцы — мастера въ военномъ дѣлѣ... французовъ-то отдули... А Микель тоже тамъ былъ!...

— О, да, о, да!—вставляетъ и свое слово соотечественникъ и близкій другъ Микеля на ломанномъ языкѣ,—о, да! Господинъ Микель при самомъ Вертѣ былъ, при Гравелотѣ былъ...

Онъ хорошо знаетъ... Онъ самый лучшій кэптенъ!... О, да!

Большинство, кажется, несомнѣнно на сторонѣ Микеля, этого толстаго, неповоротливаго хвастуна-капрала, загребающаго деньги продажей всевозможнаго брака въ своемъ единственномъ въ городкѣ магазинѣ. Микель лавочникъ всегда производилъ на меня впечатлѣніе труса-нахала, любящаго поврать о своемъ геройствѣ и своихъ небывалыхъ подвигахъ наивно-довѣрчивымъ слушателямъ. По окончаніи франко-прусской войны, въ чинѣ капрала онъ ушелъ изъ фатерланда въ американскія преріи, на „добытыя" деньги завелъ лавку, гдѣ продавалъ въ три-дорога все необходимое піонерамъ, ссужалъ имъ подъ беснословные проценты деньги а въ промежутки вралъ про свои подвиги, — почему и слылъ среди наивно-довѣрчивыхъ піонеровъ за „ловкаго дѣльца" и „браваго воина". Хвастовство это было всегда самаго грубаго пошиба: онъ бралъ въ плѣнъ маршаловъ, уничтожалъ однимъ взводомъ цѣлыя дивизіи, а баттареи прямо упрятывалъ въ карманы, какъ центы и доллары... Большинство вѣрило, какъ всегда оно вѣритъ, — а денежная зависимость и уваженіе къ „достатку" побуждали выбирать этого враля-торгаша всюду, куда бы тотъ ни пожелалъ быть выбраннымъ. Ему хотѣлось быть кэптеномъ, — хорошо, —

пусть будетъ кэптеномъ!... Это большинство составляли главнымъ образомъ піонеры изъ европейцевъ, еще плохо обжившихся въ Америкѣ. Чистокровные „янки“, меньшинство, относились къ Микелю, кажется, совсѣмъ такъ, какъ и я, и прочили своего кандидата, старика Листера—ветерана междуусобной войны... Но шансы Листера были слабы, что сразу бросалось въ глаза.

Пока шли споры о томъ, кому быть кэптеномъ, на улицахъ ставили столы для угощенія „милиціи“. Нарядныя миссъ и лэди,— въ Америкѣ всѣ женщины лэди, — высыпали съ цвѣтами, букетами и вѣнками въ рукахъ для „молодцовъ - героевъ“, и это появленіе удесятерило, конечно, общую воинственность... Всѣ вытягивались, каждому хотѣлось походить на „героя“. Прокуроръ принесъ свой контрабасъ, докторъ—кларнетъ, столяръ—скрипку, тотъ трубу и такимъ образомъ составился свой окрестръ... День былъ свѣтлый и теплый, угощеніе предстояло изрядное, лэди и миссъ были какъ всегда прелестны, общая картина довольно красива и торжественна,—и потому настроеніе всѣхъ было самое хорошее.

— Микель! Листеръ! Микель!.. Микель!.. Листеръ!.. Микель!..

Побѣдилъ Микель... Поднялись кверху шляпы, изъ прелестныхъ ручекъ посыпался дождь

букетовъ, многоголосая толпа подхватила „Микель!“, а оркестръ грянулъ „Jankee doodle“, а затѣмъ „Banner spangled of stears“ [6]). Множество маленькихъ полосатыхъ знаменъ замелькали вездѣ и среди нихъ торжественно развернулось большое полосатое знамя милиціи. „Янки“, стоявшіе за Листера, съежились, нахмурились, на врожденное въ каждомъ американцѣ уваженіе къ большинству сказалось сейчасъ же... Какъ только развернулось знамя и толпа подняла съ крикомъ свои шляпы, привѣтствуя кэптена, янки немедленно сняли и свои шляпы и тоже привѣтствовали его крикомъ: Holla! Съ выборомъ Микеля они стали самыми дисциплинированными его подчиненными,—такова натура „янки“.

— Holla, кэптенъ!

И толстый, приземистый, круглый какъ пивная бочка кэптенъ явился. Онъ успѣлъ уже достать гдѣ-то синее кэпи съ галуномъ, въ которомъ его улыбавшееся сладко и самодовольно, круглое какъ ободъ и лоснившееся жиромъ, лицо выглядѣло до нельзя смѣшно и глупо. Онъ кланялся на привѣтствія, возясь съ длинной саблей, которую долго не могъ прицѣпить и которая, неуклюже болтаясь между короткихъ ногъ, мѣшала ему ходить. Му-

---

[6]) Гимнъ: Звѣздное знамя.

зыка играла, толпа кричала, дамы бросали цвѣты и зелень, и кэптенъ, справившись, наконецъ, съ саблей, сталъ воинственно крутить тараканій усъ.

— Стройся! Въ шеренги! Въ шеренги!

Мы построились. Кэптенъ обвелъ насъ взглядомъ, покрутилъ усъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ вдоль фронта, снялъ кэпи. Было ясно, что онъ хочетъ говорить, и всѣ насторожились.

— Граждане! Гм... Почтенные граждане!.. Вы сдѣлали мнѣ честь!—началъ воинственно, по-фельдфебельски, хотя и съ запинками кэптенъ Микель. — Вы сдѣлали мнѣ честь и я постараюсь... чортъ побери! Мы въ прахъ разобьемъ эту дикую орду!..

— Въ прахъ? Hollа?—подхватили всѣ, музыка загремѣла вновь, лэди замахали платками, довольный кэптенъ пошелъ вдоль фронта.

— А, сэръ, добрый день! — сказалъ онъ, замѣтивъ меня. — Очень радъ видѣть васъ у себя въ рядахъ... Очень радъ... Русскіе храбры!.. У нихъ, конечно, еще мало культуры, но они очень храбры... Я назначаю васъ въ авангардъ!

— Хорошо, кэптенъ Микель!—отвѣтилъ я. Такая любезность была обусловлена, конечно, тѣмъ только, что еще надняхъ я далъ Микелю нажить большой процентъ на чекѣ, полу-

ченномъ мною изъ Европы, который я размѣнялъ у него.

— Хорошо, кэптенъ!

Микель сдѣлалъ шагъ и остановился предъ робкимъ Гансомъ, булочнымъ подмастерьемъ. Робкій и сантиментальный Гансъ, большой ловеласъ и любитель яркихъ галстуховъ, дрожавшій при одной мысли о встрѣчѣ съ индѣйцами въ полѣ, поблѣднѣлъ, какъ полотно, и вытянулся.

— А, Гансъ... Здраствуйте! Молодцомъ, молодцомъ, совсѣмъ по-военному — поощрялъ Микель все вытягивавшагося бурша.—Такъ, такъ! тоже назначаю въ авангардъ! Вы нѣмецъ и должны быть впереди! Вы должны показывать другимъ, что̀ можетъ сдѣлать добрый нѣмецъ!

Гансъ затрясся отъ такого комплимента и внутренно проклялъ свое нѣмецкое происхожденіе.

— Чортъ бы его побралъ!—тихо шепнулъ онъ мнѣ. Въ авангардъ! Да со мной отъ одного выстрѣла сдѣлается лихорадка!

Микель обошелъ всѣхъ. Въ авангардъ попали почти все одни нѣмцы, за то его противники янки всѣ до одного были отчислены въ аріергардъ и къ обозу. Зачѣмъ этихъ гордыхъ янки,—пхе!? Микель могъ хорошо обойтись и безъ нихъ! Онъ покажетъ, что зна-

читъ нѣмецъ! И безъ „янки“ онъ разобьетъ на голову эту дикую орду!

За „смотромъ“ наступило угощеніе, а за „угощеніемъ“ самое хорошее, самое веселое и бравое настроеніе. Виски, пиво, джинъ сдѣлали свое дѣло, и даже Гансъ, казалось, ничего уже не боялся. Скорѣй бы перевѣдаться съ этой краснокожей сволочью! Даже янки и я готовы были, пожалуй, хоть цѣловаться съ Микелемъ и повѣрить въ его военный геній. То и дѣло поднимались тосты, музыка гремѣла, лэди чаровали, а Микель воинственно брякалъ своей саблей.

Наконецъ, часы пробили пять и сейчасъ же ударили сборъ... Мы выстроились, вооруженные прекрасными ремингтоновскими штуцерами съ ярко сверкавшими штыками, и по громкой командѣ Микеля „маршъ!“ двинулись стройной колонной, съ распущеннымъ знаменемъ, сопровождаемые музыкой, пожеланіями успѣха и всевозможными восклицаніями поощрительнаго свойства со стороны оставшихся горожанъ. Микель мѣрно отбивалъ шагъ впереди, бряцая саблей...

Куда собственно мы направлялись,—мы въ сущности не знали, да врядъ-ли и самъ Микель отдавалъ себѣ ясный отчетъ... Мы знали, что идемъ на „индѣйца“, что ихъ территорія начинается миль за 5, за ручьемъ, что

дорога, по которой мы идемъ, ведетъ въ переправѣ черезъ пограничный ручей, но куда мы направимся дальше, гдѣ намъ искать этого индѣйца, мы, правду сказать, съ Микелемъ совсѣмъ не знали. Мы просто-на-просто шли „на врага“ и его „территорію“. У переправы черезъ пограничный ручей, густо поросшій небольшимъ лѣскомъ, мы остановились и кэптенъ Микель приказалъ дать „дружный залпъ“... по деревьямъ всему авангарду на „всякій случай“. Авось эта „сволочь“ попряталась тамъ... Мы „дружно“ выпалили, коническія пули сшибли много вѣтокъ, переполошили птицъ, но „врага“ не нашли. Его не было и мы смѣло переправились черезъ ручей.

III.

Вечерѣло... Солнце повисло раскаленнымъ шаромъ на горизонтѣ и косые лучи его багрили румянцемъ и небо, и зеленую прерію... Безчисленные ручьи необозримой преріи слегка задымились клубами легкаго вечерняго тумана, далекіе силуэты горъ затянулись темно-фіолетовой дымкой, въ неподвижномъ воздухѣ повѣяло вѣтеркомъ и той нѣжной вечерней

прохладой, что такъ благотворно живитъ изможденныя зноемъ силы человѣка. Всѣ мы, истомленные и зноемъ, и далекимъ походомъ, вздохнули легче и свободнѣе... Микель „опытнымъ глазомъ“ полководца искалъ уже „стратегическаго пункта“, гдѣ бы можно было остановиться для ночлега лагеремъ, разбить палатки и поставить котлы... Онъ взбирался на пригорки, поводилъ кругомъ подзорной трубкой и важно дергалъ плечами, пока мы въ ожиданіи сладостнаго отдыха напряженно слѣдили за всѣми его движеніями. Но, какъ на-зло, каждый разъ исканіе „стратегическихъ пунктовъ“ кончалось неизмѣнимымъ:

— Авангардъ—впередъ!

И мы все шли, все шли, усталые, запыленные, жаждущіе, пока онъ не нашелъ, наконецъ, эту чудную глубокую долину, походившую на одинъ изъ укромныхъ уголковъ земнаго рая... Она упиралась въ быстрый и чистый ручей, густо поросшій дубомъ и орѣхомъ, а съ боковъ опоясывалась длинною цѣпью островерхнихъ холмовъ. Лучшаго мѣста, казалось, не могло быть на свѣтѣ и съ чисто ребячьимъ весельемъ мы стали возиться на мягкой и сочной травѣ... Правда, опытные люди и ветераны прежнихъ походовъ ворчали, что такая долина болѣе пригодна для пикника, чѣмъ для военнаго лагеря, что такой хитрый

врагъ, какъ индѣйцы, легко могутъ воспользоваться и лѣсомъ, чтобы ударить на насъ съ фронта, и боковыми холмами, чтобы напасть съ фланговъ, что они могутъ насъ перерѣзать въ этой долинѣ, какъ степныхъ курицъ причемъ намъ не поможетъ даже пушка, — мы не слушали, мы совсѣмъ не хотѣли знать этого брюзжанья, весело ставили палатки и раскладывали костры...

— Индѣйцы?! пхе! — пренебрежительно улыбался на эти зловѣщіе толки кэптенъ Микель. — Индѣйцы?! Да мы испепелимъ ихъ прежде, чѣмъ они высунутъ свои красные носы изъ травы! Индѣйцы! Орда! Есть о чемъ говорить!.. — И онъ презрительно выдвигалъ впередъ свою толстую нижнюю губу.

Наше настроеніе вполнѣ отвѣчало этому тону предводителя. Весело и беззаботно возились мы у нашихъ костровъ, гдѣ шумно уже кипѣли походные чайники, а большіе котлы окутывались ароматнымъ паромъ, аппетитно щекотавшимъ ноздри. Первая очередная партія часовыхъ, отправленныхъ кэптеномъ въ цѣпь, съ искренней завистью оглядывалась на насъ, счастливцевъ, чья очередь была еще далеко.

— Эхъ, и зачѣмъ еще эти часовые... Очень нужно! Ничего кругомъ, кромѣ степныхъ курицъ!..

— Нельзя, нельзя!—важно твердилъ кэптенъ. — Часовые должны быть, это законъ войны! При первой тревогѣ—пафъ! и назадъ, бѣгомъ въ лагерь!.. При Гравелотѣ...

Часовые пошли въ цѣпь, глубоко негодуя на эти „законы войны“, а того, что было при Гравелотѣ, никто, конечно, не слушалъ,— чай и ужинъ поспѣли...

IV.

— Сэръ, вставайте, сэръ, ваша очередь идти въ цѣпь!..

Это было уже незадолго до разсвѣта. Луна спряталась и кругомъ стояла глубокая ночная темь, въ которой особенно ярко выдѣлялись вверху золотыя звѣзды. Здоровая тряска, которую задали мнѣ сильныя руки „дежурнаго“, разбудила меня, наконецъ, отъ глубокаго сна; я вскочилъ, но, ничего еще несоображая, безсмысленно теръ невидѣвшіе ничего глаза.

— Въ цѣпь, сэръ, въ цѣпь, ваша очередь...

Я вспомнилъ, наконецъ, гдѣ я, вспомнилъ, что я милиціонеръ, и понялъ, чего отъ меня нужно... Пришла моя очередь становиться на часы и оберегать крѣпко спавшій лагерь. Я вскочилъ, взялъ ружье и, ежась отъ ночнаго

холода и зѣвая, пошелъ впередъ за дежурнымъ, ничего не различая въ темнотѣ... Сзади меня шелъ Гансъ, проклиная индѣйцевъ и всѣхъ тѣхъ, кто выдумалъ эти „глупые походы“.

— И нужно было выдумать эту глупость!— ворчалъ онъ. — Не спи и шляйся теперь по ночамъ, чортъ знаетъ куда!..

— И знаете,—подхватилъ я шутя,—преопасная это вещь стоять на часахъ... Вопервыхъ, отвѣтственность большая,—на тебѣ лежитъ безопасность всего лагеря, во-вторыхъ...

— О, не пугайте, — взмолился искренно Гансъ,—я и такъ боюсь... право боюсь...

Всѣ разсмѣялись и совѣтовали Гансу смотрѣть въ оба и не жалѣть пули при малѣйшей тревогѣ. — Смотрите въ оба, и чуть что, — пали! а затѣмъ—назадъ!—говорилъ старшій.

— Шутки въ сторону, господа,—прервалъ тутъ молчаніе шедшій съ нами „янки“, ветеранъ минувшей войны,—а глядѣть вы дѣйствительно должны въ оба... Теперь именно самое опасное время... Индѣйцы обыкновенно нападаютъ предъ разсвѣтомъ!...

Не знаю, что почувствовалъ Гансъ, но мнѣ стало жутко. Сознаніе громадной отвѣтственности, лежащей на мнѣ, еще усиливало это состояніе... Глубокая мгла, казалось, становилась какъ на зло гуще, еще непрогляднѣе, а за этой непроглядной мглою чудилась не-

премѣнно какая-то скрытая, тревожная тайна... А что въ самомъ дѣлѣ, если *они* готовятся къ нападенію и скрываются уже гдѣ нибудь недалеко въ высокой травѣ?... что, если я прогляжу, если *они* ловко, какъ всегда почти, незамѣтно подползутъ и...? Дальше голова отказывалась работать, за то сердце билось до того учащенно, что въ груди спиралось дыханіе...

Я притаился за небольшимъ кустомъ какого-то колючаго растенія и ждалъ въ тревогѣ вглядываясь въ глубокую тьму и лихорадочными руками держа на-готовѣ свой штуцеръ... Лагерь былъ далеко сзади, кругомъ могильная тишина, въ которой, какъ-то предательски, казалось, мерцали звѣзды... Мои товарищи по цѣпи были тоже далеко, — шагахъ въ 80 каждый, — и мысль о томъ, что видятъ, думаютъ и чувствуютъ они—назойливо лѣзла въ голову... Можетъ быть они что нибудь видятъ, — Можетъ быть готовятся стрѣлять!.. Разъ, два... нѣтъ, — все тихо!... Что-то чувствуетъ теперь Гансъ, который стоитъ отъ меня влѣво?!

Глубокая мгла зловѣще глядѣла мнѣ прямо въ глаза, какимъ-то черными пологомъ, скрывая отъ меня все, что таила въ себѣ невидимая даль... А эта даль—непремѣнно таила въ себѣ что нибудь злое и грозное... Ожида-

ніе мало-по-мало переходило во что-то въ родѣ увѣренности, и я почти уже не сомнѣвался, казалось, что индѣйцы непремѣнно нападутъ съ разсвѣтомъ. Непремѣнно нападутъ!—стучало, казалось, мое сердце... Можетъ быть *они* уже въ травѣ, близко за этимъ чернымъ, непроглядным пологомъ?!.. Можетъ быть *они* разглядѣли уже меня своими зоркими глазами и тихо натягиваютъ тетивы своихъ страшныхъ луковъ?!... Жуткое чувство тревоги все росло и росло, страхъ, казалось, захватывалъ дыханіе и я все крѣпче и крѣпче сжималъ свой штуцеръ...

Воображаю, что долженъ былъ испытывать Гансъ, если я самъ былъ въ какой-то страшной, тревожной лихорадкѣ... Лихорадочнымъ ухомъ, затаивъ дыханіе, я ловилъ каждый подозрительный шорохъ и разъ было чуть-чуть не поднялъ тревоги изъ-за встрепенувшейся въ травѣ птицы... Легкій вѣтеръ всколыхнулъ траву, и я вскочилъ и прицѣлился... Моя увѣренность, что нападеніе непремѣнно будетъ, что врагъ уже близко, все казалось, крѣпла и крѣпла съ каждой минутой, приближавшей разсвѣтъ. Томительное ожиданіе становилось невыносимымъ и сильно стучавшее въ неподвижной, казалось, груди сердце какъ бы торопило развязку и просило: скорѣй, скорѣй!..

Чего и зачѣмъ *они* медлятъ?!... Отчего не нападаютъ?!... Еще немного и я, кажется, выпалилъ бы по заколыхавшейся отъ вѣтра травѣ...

И вдругъ—бацъ!

Слѣва отъ меня, тамъ, гдѣ стоялъ Гансъ, ярко блеснуло красноватое пламя и грянулъ выстрѣлъ... Наконецъ-то!.. Вотъ!.. Въ одно мгновеніе я приложился и выстрѣлилъ въ свою очередь, самъ не зная куда. За мной сейчасъ же, какъ и должно было, выстрѣлилъ стоявшій справа янки и по всей цѣпи кругомъ, какъ разсыпанный горохъ, затрещали выстрѣлы. Тутъ же, съ дымящимся еще штуцеромъ я бросился бѣжать, какъ и всѣ часовые цѣпи, прямо въ лагерь...

Я не зналъ, что такое произошло, въ кого стрѣлялъ Гансъ, въ кого стрѣляли я и другіе, но я понималъ, что бѣгу отъ чего-то страшнаго и злаго, и потому съ каждой секундой я бѣжалъ быстрѣе и быстрѣе... Сзади меня послышался нагонявшій топотъ и помню, что, не разсчитывая уйдти отъ этого быстро догонявшаго топота, я повернулся, чтобы встрѣтить врага штыкомъ, и полѣзъ дрожавшей рукой въ сумку за патрономъ... Я былъ внѣ себя, полонъ той остервенѣлой злобы на всѣхъ и ни на кого въ частности, что заставляетъ человѣка совершенно безтре-

петно, даже съ какимъ-то удовольствіемъ самосохраненія втыкать штыкъ въ другаго человѣка... Эти остервенѣніе и злоба продуктъ самаго отчаяннаго страха, хотя очень часто сходятъ за геройскую храбрость... И я непремѣнно воткнулъ-бы штыкъ, если бы этотъ другой, бѣжавшій тоже сломя голову, не заоралъ мнѣ, задыхаясь:—это я, это я!—и я не узналъ бы по голосу Ганса...

Дальше — я ничего не помню кромѣ бѣгства... Какъ мы наткнулись съ примкнутыми штыками на всполошившійся лагерь, какъ не подняли мы другъ друга на штыки — я не понимаю и не знаю... Знаю только и ясно помню, какъ бѣжали, спотыкаясь и задыхаясь, мы всѣ, — и цѣпь, и весь лагерь, побросавъ обозъ, лошадей и пушку. Куда, зачѣмъ, отчего мы бѣжали—не зналъ никто, но каждый задыхался, потому-что бѣжали въ гору, бѣжать было тяжело, а все возраставшій ужасъ гналъ все сильнѣе и сильнѣе. Нашъ собственный топотъ подгонялъ насъ, казалось, и удесятерялъ нашъ ужасъ. Мы летѣли очертя голову, ничего не видя впереди, ничего не понимая, не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, какъ вспугнутое стадо бизоновъ... И впереди всѣхъ, усиленно двигая короткими, жирными локтями и быстро сѣменя короткими толстыми ногами во фланелевыхъ чулкахъ и

кальсонахъ, въ такой же фуфайкѣ и колпакѣ на головѣ,—летѣлъ нашъ кэптенъ, герой при Гравелоттѣ. — Онъ тащилъ за собой на портупеѣ свою длинную саблю, самъ не зная, конечно, зачѣмъ...

Наконецъ мы остановились... Какъ и почему вдругъ остановились,—опять не знаю,—но кажется, что остановились всѣ разомъ, какъ стадо. Груди наши работали какъ кузнечные мѣхи... Мы занимали вершину высокаго холма и, озираясь кругомъ въ полумглѣ чуть занявшагося разсвѣта, съ изумленіемъ убѣждались въ отсутствіи погони и какого бы то ни было врага... Въ покинутомъ лагерѣ, который виднѣлся внизу, подъ холмомъ, все было спокойно и невозмутимо... Мулы и лошади спокойно паслись, пофыркивая, и кругомъ ни одного индѣйца!.. Въ чемъ же дѣло? Отчего тревога? Зачѣмъ вы стрѣляли, Гансъ?

— Мнѣ показалось, господа, — отвѣтилъ задыхавшійся Гансъ, — мнѣ показалось, что ползутъ индѣйцы!

Общій громкій хохотъ былъ ему отвѣтомъ... Намъ стало стыдно, мы покраснѣли, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ съ груди свалилась тяжесть страха,—нами овладѣло неудержимое веселье... Мы хохотали и надъ Гансомъ, и надъ собой до упаду... Веселое настроеніе, въ которое перешелъ за минуту передъ тѣмъ гнавшій

насъ панический ужасъ, и хохотъ возрасли еще больше, когда мы оглядѣли комичную фигуру нашего сконфуженнаго предводителя.

— Смотрите, джентльмены, смотрите — нашъ кэптенъ! Ха, ха, ха!..

Толстый Микель въ своей фланели, съ своей саблей, съ своимъ колпакомъ, понялъ, что онъ смѣшенъ, и потому началъ было:

— Господа при Гравелоттѣ...

Общій взрывъ гомерическаго хохота заглушилъ его рѣчь.

— При Гравелоттѣ... началъ онъ громче, но его перебили:

— Убирайся съ своей Гравелоттой!.. Какая тамъ Гравелотта... Вы просто фланелевый тюфикъ.

— Да, да! — загоготали всѣ кругомъ, — именно фланелевый тюфякъ!.. Смотрите!.. Ха, ха, ха!

Бѣдный Микель дѣйствительно очень походилъ на тюфикъ... Онъ понялъ, что роль его окончена.

— Я отказываюсь!—началъ-было онъ, но его опять перебили.

— Намъ нужно настоящаго кэптена, джентльмены, а не фланелевую тумбу... Кого же?!.

— Листера, Листера, — послышались голоса, и всѣ кругомъ, хохоча, подхватили имя

Листера, оказавшагося послѣ дѣйствительно хорошимъ и храбрымъ предводителемъ.

— Ну, а теперь пойдемъ назадъ къ своимъ муламъ и пушкѣ...

И съ хохотомъ мы двинулись назадъ...

—

Вскорѣ намъ пришлось участвовать въ стычкахъ довольно жестокихъ и кровавыхъ съ обѣихъ сторонъ... Много всякихъ эпизодовъ, и трагическихъ, и смѣшныхъ, выпало намъ на долю, но эту первую ночь не забылъ изъ насъ никто... И много разъ еще хохотали мы, вспоминая и наше стадное бѣгство, и комичную фигуру толстого Микеля въ сѣрой фланели.

— Сэръ, — съ недоумѣніемъ спрашивали мы стойкаго и мужественнаго старика Листера, — какъ же это и вы, кэптенъ, — побѣжали со всѣми?!—Такой опытный, стойкій встеранъ и вдругъ...

Но кэптенъ Листеръ всегда качалъ своей сѣдой головой въ отвѣтъ и, добродушно улыбаясь, говорилъ:

— Въ бою не бываетъ ни героевъ, ни трусовъ, джентльмены!.. Въ бою самый робкій человѣкъ, движимый испугомъ, можетъ сдѣлать что нибудь такое, что сойдетъ за

храбрость, а самый стойкій человѣкъ побѣжать, какъ овца, за другими... И не па бранномъ полѣ ищите героевъ...

Я всегда вспоминалъ при этомъ, какъ движимый самымъ глубокимъ страхомъ, чуть чуть не проткнулъ „храбро“ Ганса штыкомъ...

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ.

ПОВѢСТЬ.

ГЛАВА I.

Какъ мистеръ Смитъ пріобрѣлъ черного мула.

Лишь только веселое апрѣльское солнце всплыло на голубое небо и улыбнулось яснымъ привѣтомъ и рощѣ, и преріи, и дремавшему еще Мерезвилю, первые золотые лучи его цѣлымъ пламеннымъ потокомъ ударили въ уголъ большой бѣлой стѣны телеграфной станціи, стоявшей на пригоркѣ. Нѣсколько шаловливыхъ золотыхъ зайчиковъ, отдѣлившись отъ свѣтоваго потока, вскочили затѣмъ въ большое окно и прямо наткнулись на гладкую плѣшь мистера Смита, по обыкновенію, мирно бодрствовавшаго, уткнувъ голову въ сложенныя у аппарата руки. Въ качествѣ дежурнаго по телеграфу, мистеръ Смитъ и не могъ, конечно, не бодрствовать, тѣмъ болѣе, что считался всѣмъ городкомъ чуть ли не исправнѣйшимъ телеграфистомъ „запада". Тяжелое дыханіе,

нѣсколько странные носовые звуки съ легкимъ присвистомъ и какое-то особенное, неподвижно-грузное положеніе всего тѣла могли свидѣтельствовать лишь о стадіи глубочайшаго раздумья, въ которое, какъ извѣстно, любилъ погружаться мистеръ Смитъ вообще и въ особенности въ ночныя дежурства. Недаромъ слылъ онъ большимъ философомъ въ Мерезвилѣ! И раздумье его было такъ глубоко, что какъ ни бились свѣтлые зайчики съ его плѣшью, какъ ни шалили съ рѣдкими прядями его волосъ, великодушно оставленныхъ раздражительною мистрисъ Смитъ на вискахъ и затылкѣ (чего ни наговорятъ злые языки!),— все было тщетно. Въ своемъ глубокомъ раздумьи великій философъ оставался неподвиженъ, непоколебимъ и спокоенъ.

Точно утомившись бороться съ такимъ стоицизмомъ, свѣтлые зайчики вскочили въ стеклянный ящикъ аппарата и разсыпались тамъ яркими блестками по гладко-полированнымъ винтамъ, колесамъ и стержнямъ... Въ ту же минуту неподвижный до сихъ поръ аппаратъ, какъ бы разбуженный вдругъ такими назойливыми гостями — свѣтлыми вѣстниками утра, завертѣлся, заворчалъ и зашипѣлъ.

Мистеру Смиту въ его раздумьи почудилось сначала, будто бережливая мистрисъ Смитъ горячо негодуетъ на торговокъ, запро-

сившихъ, какъ всегда, слишкомъ высокую цѣну за морковь и картофель. Затѣмъ, когда, вслѣдъ за ворчаньемъ и шипѣньемъ, въ аппаратѣ началъ звонко стучать мелкою дробью неугомонный ключъ свое: „тикъ-такъ, тикъ-тикъ-такъ, тикъ-такъ!“—онъ испуганно вздрогнулъ, ибо принялъ это за обычныя сентенціи той же любимой супруги, обращенныя уже прямо къ нему. Послѣдняго, пожалуй, могло быть достаточно, чтобы вывести изъ раздумья даже самого Сократа, не то что мистера Смита, и потому вполнѣ естественно, что онъ вскочилъ немедленно. Но, убѣдившись, что нѣжная супруга и не думаетъ обнаруживать признаковъ своего существованія, что вся тревога его, такимъ образомъ, была напрасна, онъ успокоился, сталъ вслушиваться и сердито заворчалъ.

— Такъ и есть!—ворчалъ онъ, ловя привычнымъ ухомъ короткіе, рѣзкіе удары телеграфнаго ключа. — Такъ и есть. Опять экстренная!... Охъ, ужъ мнѣ эти политиканы!... Нечего дѣлать имъ въ Вашингтонѣ,—ну, и знай только разсылаютъ экстренныя! Каторга—не жизнь!

Онъ нажалъ рычагъ, пустилъ ленту и заворчалъ еще сильнѣе обычнымъ тономъ ядовитѣйшей ироніи, съ какимъ истый сынъ за-

падныхъ прерій говоритъ всегда объ „этихъ политиканахъ востока.“

— Такъ и есть, ну, да! Ха-ха-ха, въ фортъ Прескотъ! Держи карманъ, — перешлешь, какже, когда эта красноножая сволочь всѣ проволоки оборвала, подавись она и на этомъ, и на томъ свѣтѣ! Охъ, ужъ мнѣ эти политиканы. Экстренныя разсылаютъ, а того и не знаютъ, что на свѣтѣ дѣлается! Думаютъ, разбили эту орду, поймали собаку Чернаго Ястреба, такъ и рѣзнѣ конецъ, дороги свободны? Да, какже, шалишь! Сами-жъ и виноваты, голубчики, сами и намутили все своимъ баловствомъ да потачками, авось теперь-то образумитесь и свои филантропіи оставите!... Вмѣсто того, чтобы перевѣшать всѣхъ до одной собакъ, они въ конгрессѣ гуманности разводятъ, да всякихъ поэтишекъ слушаютъ!... Гуманность, филантропія,—тоже нашли съ кѣмъ! Посмотрѣлъ бы я на васъ здѣсь, когда-бъ у васъ скальпы полетѣли! Другую пѣсню запѣли бы! А то издали...

Вдругъ онъ прервалъ свое ворчанье, вытянулся, какъ бы въ изумленіи, и весь превратился въ слухъ. Очевидно, чуткое ухо сквозь воркотню уловило нѣчто изъ ряду вонъ выходящее, потому что изумленное лицо его исказилось сильнымъ гнѣвомъ. Точно не вѣря себѣ, мистеръ Смитъ кинулся къ лентѣ, сталъ тща-

тельно разбирать знаки, всплеснулъ руками и почти упалъ на спинку кресла.

— Везти въ Вашингтонъ?—бормоталъ онъ, задыхаясь отъ негодованія. — Такую собаку? Нѣтъ, они тамъ ничему не научились, и будь я трижды проклятъ, если они его не помилуютъ!

Высказывая такое подозрѣніе относительно намѣреній этихъ „они", почтенный телеграфистъ, несомнѣнно, имѣлъ въ запасѣ много данныхъ. Къ сожалѣнію, вмѣсто того, чтобы высказывать таковыя, онъ разразился проклятіями, и такъ громко, что, навѣрное, поднялъ бы на ноги всѣхъ сосѣдей, не помѣшай ему приходъ гостя.

Такимъ раннимъ гостемъ могъ быть, конечно, одинъ только почтенный Артуръ Кольдайсъ или, попросту, кэптэнъ Артуръ, нѣкогда капитанъ волонтеровъ, „бившій прямо въ туза", а теперь за страсть къ „свѣжимъ новостямъ" прозванный жестокими мерезвильцами „старою бабой". Прекрасная ферма и значительная рента давали кэптэну Артуру большой досугъ, досугъ велъ къ „политиканству", а послѣднее развило неудержимую страсть къ новостямъ. И дѣйствительно, большой „политикъ", кэптэнъ Артуръ любилъ собирать новости такъ же страстно, какъ, наприм., строгая, но справедливая мистрисъ

Смитъ—говорить сентенціи. Возстаніе индѣйцевъ, хотя и усмиренное съ плѣненіемъ Черного Ястреба, знаменитаго вождя, два раза на голову разбившаго войска союза, но пока еще не совсѣмъ подавленное, сильно замедляло и даже разстраивало правильность почтовыхъ сношеній, почему почтенный капитанъ, лишонный зачастую новостей, испытывалъ теперь почти танталовы муки.

— Ишь, точно собака на дичь!—проворчалъ мистеръ Смитъ, все еще дувшійся на пріятеля за отказъ уступить ему чернаго мула.—Ей-Богу, точно собака!

Но кэптэнъ Артуръ не слышалъ, конечно, такого нелестнаго эпитета. Уловивъ еще на лѣстницѣ громкія проклятія мистера Смита, дававшія ему возможность разсчитывать на „нѣчто новенькое“, онъ вошелъ съ сіяющею улыбкой.

— Съ добрымъ утромъ, сэръ!

Мистеръ Смитъ считалъ себя, вполнѣ естественно, самымъ молчаливымъ, самымъ сдержаннымъ гражданиномъ союза. Въ отношеніи умѣнья соблюдать тайну и держать языкъ за зубами онъ любилъ называть себя даже „могилой“, какъ мистеръ Артуръ—„старымъ солдатомъ“. Держа въ рукахъ только что полученную тайну и видя, въ то же время, предъ собой такого хищника, онъ насупился, принялъ важ-

ный видъ и отвѣчалъ на привѣтъ довольно сухо. А это еще сильнѣе утвердило гостя въ его разсчетѣ.

— Что-нибудь новенькое!—сладко спросилъ тотъ и узкіе глаза его хищно блеснули.— Свѣженькое что-нибудь?

— Н-да, не безъ того!—довольно загадочно и важно отвѣтилъ какъ бы про себя мистеръ Смитъ, умѣвшій-таки поддерживать престижъ „чиновника союза“. — Не безъ того! Кое-что есть!...

Глаза кэптэна Артура заходили изъ стороны въ сторону.

— Изъ Вашингтона?

— Экстренная!

— Вотъ какъ!

Мистеръ Артуръ захлебнулся.

— Къ намъ?—спросилъ онъ, задыхаясь.— Въ Мерезвиль?

Послѣ извѣстной размолвки изъ-за мула мистеръ Смитъ имѣлъ всѣ резоны не отвѣчать на жгучій вопросъ и наказать, такимъ образомъ, кэптэна. Но страсть поглумиться надъ „вашингтонскими политиканами“ взяла верхъ.

— Въ фортъ Прескотъ, сэръ! — выразительно подмигнулъ онъ.—Въ от-рѣ-зан-ный фортъ!—подчеркивалъ мистеръ Смитъ.

— Въ фортъ Прескотъ? Ха-ха-ха... Развѣ по воздуху?

Тутъ оба пріятеля залились гомерическимъ хохотомъ, выразительно подмигивая другъ другу и до тонкости разобрали всю „глупую“ вашингтонскую политику, разсылающую „экстренныя“, не зная, что дѣлается на дорогахъ, и то и дѣло только мирволящую „краснокожимъ собакамъ“. Господи, хоть бы съ одного-то изъ „нихъ“ сорвали когда-нибудь скальпъ! Увидѣли бы „они“, стоитъ ли мирволить да гуманничать! Только бы одинъ скальпъ!...

Какъ ни была интересна такая здравая критика, но неудержамая страсть кэптэна, все-таки, побѣдила.

— И какъ же вы перешлете, почтеннѣйшій мистеръ Смитъ, эту „экстренную?“ Потребуете военнаго эскорта для доставки? да?— спросилъ онъ, оставивъ критику.

— Конечно, сэръ, другаго способа и нѣтъ... Пусть тащится съ эскортомъ!... Что касается меня, сэръ, то я былъ бы очень радъ, еслибъ она и не дотащилась вовсе!... Очень радъ, чортъ побери! — и мистеръ Смитъ запылалъ негодованіемъ вновь.

— Развѣ скверное?—почти зашепталъ отъ необычайнаго волненія гость.

— И очень, сэръ! Чортъ знаетъ что, сэръ! Самый адъ, разрази меня Господь, сэръ, не придумалъ бы худшаго!

У кэптэна Артура забѣгали глазки. Выносить такую пытку не хватало уже силъ и, задыхаясь, путаясь, онъ тихо проговорилъ:

— Я надѣюсь, мистеръ Смитъ, что вы не скроете отъ стараго друга... Вы знаете, что я...

Но мистеръ Смитъ былъ „могила".

— Государственная тайна... Долгъ службы, сэръ!—внушительно заговорилъ онъ чисто-могильнымъ голосомъ.—Долгъ службы!

— Да, да, понимаю!—быстро сыпалъ гость, захлебываясь отъ нетерпѣнія, такъ какъ препятствія только сильнѣе разжигали его страсть. Я хорошо понимаю! Оно, конечно... государственная тайна... долгъ службы... такъ! Но если, напримѣръ, пріятель, который обяжется честнымъ словомъ стараго солдата,—словомъ стараго солдата, сэръ!—превратиться въ нѣмую рыбу...

Зналъ ли мистеръ Смитъ о невозможности „старому солдату" превратиться въ нѣмую рыбу, или нѣтъ, только голосъ его сталъ еще могильнѣе.

— Секретная, сэръ!—точно оправдывался „могила-Смитъ".—Секретнѣйшее предписаніе военнаго министра!

Этого было слишкомъ для кэптэна Артура. Его ударило въ потъ и въ вискахъ застучало.

— А-а... еще и секретная! Секретное предписаніе! — захлебывался онъ, подавившись впе-

редъ и кидая алчный взглядъ на ленту аппарата.—Ну, да, я такъ и ожидалъ, такъ и думалъ, сэръ! Да, конечно, тутъ требуется тайна?... Да, да! Ужъ не о Черномъ-ли Ястребѣ?.. А?!

Но могила—Смитъ загадочно молчалъ...

— Не о немь-ли, сэръ!? Серьезно,—да?—кэптенъ старался заглянуть своимъ хищнымъ взоромъ въ глаза друга.

Мистеръ Смитъ не поднялъ опущенныхъ вѣкъ....

Тогда кэптэнъ рѣзко оборвалъ, помолчалъ немного, точно отказавшись отъ всякой надежды проникнуть въ чужую тайну, и заговорилъ затѣмъ о другомъ, совершенно измѣнивъ и самый тонъ.

— А знаете ли, сэръ,—началъ онъ, казалось, совсѣмъ уже равнодушно и спокойно,—я передумалъ... Я, знаете ли, пожалуй, и не прочь теперь продать того мула... Знаете, о которомъ вы заговорили было давеча...

— Продать мула?—мистеръ Смитъ поднялъ глаза.

— Ну, да!... Того, съ бѣлымъ пятномъ... Помните?

Помнитъ ли онъ?! Этотъ чудный мулъ съ бѣлымъ пятномъ на лбу точно у Аписа, съ черными огненными глазами, съ тонкими, какъ у газели, ногами,—этотъ мулъ положительно пре-

слѣдовалъ бѣднягу и во снѣ, и на яву. Этотъ мулъ стоялъ предъ нимъ, какъ живой, что бы тотъ ни дѣлалъ, о чемъ бы ни думалъ,—онъ самовольно, точно навожденіемъ злаго духа, вторгался даже въ тексты депешъ, передаваемыхъ влюбленнымъ въ него Смитомъ, производя, конечно, путаницу и вызывая законный гнѣвъ сосѣднихъ станцій. Еще вчера онъ замѣнилъ собою въ текстѣ депеши слово: „мужъ" и бѣдный мистеръ Смитъ получилъ нахлобучку, какъ-то нечаянно простучавъ адресаткѣ „вашъ мулъ". вмѣсто „вашъ мужъ". Онъ, признаться, даже заслонялъ ему подчасъ свѣтлый образъ любимой супруги... Этотъ мулъ....

Мистеръ Смитъ закрылъ глаза и дьявольскій мулъ явился предъ его духовнымъ окомъ во всемъ соблазнѣ своей дикой красоты. Затѣмъ онъ открылъ глаза... затѣмъ...

Но тутъ оба пріятеля заговорили о чемъ-то такимъ глубокимъ шепотомъ, что даже чуткое ухо самой мистрисъ Смитъ, плотно приложенное къ замочной щели, не могло уловить ни звука...

А злосчастная „экстренная", побродивъ по двумъ, тремъ инстанціямъ, дождалась, наконецъ, эскорта и двинулась съ нимъ въ отрѣзанный пока фортъ, стоявшій у самой границы индѣйскихъ владѣній, грозно глядѣвшій туда открытыми жерлами громадныхъ пушекъ.

Небольшія шайки возставшихъ племенъ бродили еще у самой границы, но нападать на военные эскорты онѣ уже не рѣшались и телеграмма военнаго министра добралась въ фортъ благополучно. А что она тамъ натворила, читатель узнаетъ изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА II.

Изъ которой ясно, какъ много значитъ въ жизни „точка зрѣнія".

— Я желалъ бы знать, разорви меня бомба, что вы на это скажете, лейтенантъ Свитхартъ? Да, что вы на это скажете?

Если бы часовой вдругъ ударилъ тревогу, сухой, длинный лейтенантъ Свитхартъ не вскочилъ бы стремительнѣе. Если бы батальонъ, вмѣсто того, чтобы повернуть по командѣ вправо, взялъ на смотру влѣво, его изумленіе не могло быть сильнѣе. Дѣйствительно, онъ услышалъ нѣчто крайне необычайное, выходящее изъ ряду. Старый и толстый рубака, майоръ Спаркль, комендантъ форта,—никогда не выказывавшій даже поползновенія справляться съ чьимъ бы то ни было мнѣніемъ,—

вдругъ пожелалъ узнать, что онъ скажетъ? И, ворочая въ изумленіи бѣлками, комкая газету, которую читалъ, пока майоръ рылся въ почтовой сумкѣ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, длинный и флегматичный лейтенантъ стоялъ истуканомъ. Что же такое могло случиться? Не взбунтовался ли гарнизонъ въ самомъ дѣлѣ? Нѣтъ, вся бѣда, очевидно, заключалась въ какой-то депешѣ.

— Что вы на это скажете, сэръ?—еще нетерпѣливѣе повторилъ, между тѣмъ, экспансивный майоръ, весь багровый отъ негодованія, судорожно комкая только что полученную телеграмму министра, такъ возмутившую и мистера Смита.

— Что я скажу, сэръ?

Лейтенантъ, наконецъ, пришелъ въ себя, взялъ депешу и прочелъ ее медленно и внимательно. Затѣмъ онъ прочелъ ее еще разъ, очевидно, не довѣряя своимъ глазамъ. Затѣмъ, Богъ ужъ его знаетъ почему, полный изумленія, поднявъ высоко свои сухія плечи, прочелъ ее и въ третій разъ.

— Я думаю, сэръ,—я позволяю себѣ думать, — началъ онъ съ обычной флегмой, хотя и пылалъ негодованіемъ, — что это величайшее, чортъ побери, свинство!..

— Слово въ слово, какъ и я, чортъ возьми!—подхватилъ майоръ.—И я тоже думаю,

лейтенантъ Свитхвартъ! Даже больше, — съ моей точки зрѣнія,—сто залповъ чертей!—я думаю, что это даже не-вѣ-роятное свинство!..

Майоръ захлебнулся. Успокоившись, онъ въ пухъ и прахъ разнесъ всю индѣйскую политику правительства. Помилуйте, везти эту собаку, Чернаго Ястреба, въ Вашингтонъ! Да это уже не гуманничанье, а чистое сумасшествіе!.. И пусть его, майора Спаркля, разстрѣляютъ безъ суда въ 24 часа, если все это не значитъ,что Черному Ястребу не придется болтаться въ петлѣ, которую тотъ несомнѣнно заслужилъ, и если его тамъ не погладятъ по головкѣ?.. Его, поднявшаго почти всѣ племена и осмѣлившагося два раза подрядъ на голову разбить регулярныя войска союза?! Съ такимъ трудомъ взятаго, наконецъ, въ плѣнъ?! Два милліона бомбъ, чиненыхъ чертями!!!

Старая одышка помѣшала майору продолжать свою энергическую тираду, и, кашляя и отдуваясь, старый рубака только ворочалъ глазами, сверкавшими все большимъ негодованіемъ. Казалось, онъ совсѣмъ потерялъ голову и забылъ о престижѣ „коменданта“,— по крайней мѣрѣ, справившись съ одышкой, онъ продолжалъ еще энергичнѣе въ томъ же тонѣ, точно съ „равнымъ“ себѣ:

— Сто противъ одного! Лейтанантъ Свитхартъ, держу сто противъ одного, если всѣ эти „тамъ“,—губы майора выразили необычайное презрѣніе,—если всѣ эти политиканы съ ихъ дамами и филантропами не считаютъ эту собаку героемъ! Слышите, сэръ?—героемъ!—пусть съ меня живаго сдерутъ шкуру, если я вру! Да, лейтенантъ, Свитхартъ! Въ бараньихъ головахъ этотъ бунтовщикъ и сниматель скальповъ — герой!.. Щелкоперы и стрикулисты печатаютъ ему оды и дѣлаютъ героемъ своихъ безмозглыхъ поэмъ, а всѣ барыньки декламируютъ и проливаютъ слезы! О, это старая исторія! Сначала насъ посылаютъ усмирять „героевъ“, а когда мы хорошо порѣжемся и справимся, наконецъ, потерявъ, чортъ побери, довольно таки мяса,—ихъ милуютъ и везутъ на показъ дамамъ!.. Это называется гуманною политикой! Будь я, сэръ, не майоръ Спаркль, если я хоть чуточку смысла вижу въ такой политикѣ!.. Да, съ моей точки зрѣнія!.. Будь я не майоръ Спаркль!..

Но такъ какъ не быть имъ майоръ не могъ, то, естественно, и смысла не могло быть въ такой политикѣ, что ясно выражало сухое, флегматическое лицо лейтенанта. Справившись съ новымъ приступомъ кашля, прервавшимъ его рѣчь, майоръ началъ мало по малу овла-

дѣвать собою. Всегда, при всякихъ взрывахъ негодованія, главное для него было—выговориться, и, выговорившись теперь, майоръ вспомнилъ о своемъ „престижѣ“.

— А, все-таки, сэръ, мы должны буквально исполнить предписаніе военнаго министра!

Этимъ восклицаніемъ,—вырвавшимся, правда, съ глубокою скорбью, —приходившій въ себя майоръ давалъ прекрасный урокъ дисциплины своему подчиненному и возстановлялъ свой, утраченный было, престижъ. Да, какъ ни возмутительно, какъ ни грустно, но исполнить должно, ибо послушаніе есть первый долгъ солдата. Всякое приказаніе должно исполнить, если оно не противорѣчитъ конституціи союза, и лейтенанту нужно всегда помнить это... Слышете, лейтенантъ Свитхартъ!?

И такъ какъ лейтенантъ это слышалъ, то майоръ сейчасъ же добавилъ съ глубокимъ вздохомъ:

— А настоящее, сэръ, ничѣмъ, къ сожалѣнію, не противорѣчитъ,—и кликнулъ сержанта Брума.

Глаза майора сверкали восторгомъ. Атлетическая фигура упитаннаго сержанта, этотъ хорошо подогнанный, точно обтянутый мундиръ, эти сверкавшія пуговицы и нашивки, прекрасная выправка, —все это вмѣстѣ глу-

боко затрогивало сокровеннѣйшія струны майорскаго сердца. Не спуская зоркаго, опытнаго глаза, онъ самодовольно любовался сержантомъ, какъ строгій отецъ своимъ достойнымъ дѣтищемъ. Все исправно, все на мѣстѣ, гладко, чисто, какъ должно, и пусть-ка тамъ посмотрятъ въ Вашингтонѣ политиканы, каковы-то должны быть дѣйствительные герои! Да, это — не краснорожій рѣзатель скальповъ; это—не глупыя перья и бляхи на взъерошенной головѣ, не обтрепанныя индѣйскія лохмотья! Нѣтъ-съ! Это... это... ну, да, однимъ словомъ, пусть-ка они тамъ посмотрятъ,—если, конечно, у нихъ есть глаза, чтобы видѣть!

Экспансивный майоръ самодовольно потеръ руки, но тонъ его былъ сухъ и полонъ достоинства, конечно, когда онъ заговорилъ съ нижнимъ чиномъ.

— Сержантъ Брумъ, министръ требуетъ въ Вашингтонъ Чернаго Ястреба!

Въ сѣрыхъ глазахъ великолѣпнаго сержанта сверкнуло свирѣпое изумленіе, лицо его побагровѣло, но голосъ даже не дрогнулъ при обычномъ: „слушаю, господинъ майоръ!“.

— Я назначаю васъ конвоиромъ, а вы должны выбрать себѣ еще двухъ рядовыхъ... Можете взять Тобби или Крэбса, хотя помните, что послѣдній любитъ засматриваться

по сторонамъ... По моему, лучше Тобби и Джонса,—не бѣда, если тотъ глядитъ медвѣдемъ! Впрочемъ, какъ знаете, это ваше дѣло и вы одинъ за все отвѣчаете!... Слышете, сержантъ Брумъ?

На это, естественно, могъ послѣдовать лишь утвердительный отвѣтъ, и майоръ продолжалъ:

— Надѣюсь, все будетъ исправно! Охранять до Мерезвиля будетъ эскортъ, доставившій почту!... Понимаете? Ступайте!

Сержантъ повернулся, и прелестнѣйшій пируэтъ самой воздушной балерины на свѣтѣ не могъ бы взволновать такъ майорское сердце, какъ это безукоризненное, образцовое „направо кругомъ“.

— Молодецъ! — проговорилъ старый рубака въ свои сѣдые, длинные усы. — Право, молодецъ! Только какъ бы ему не свернули шею ребята, если телеграмма стала извѣстна и тѣ вздумаютъ прибѣгнуть къ Линчу! Плохи шутки съ здѣшними ребятами!

Скоро весь фортъ негодовалъ по поводу новаго факта гуманничанья съ краснокожими, а къ этому негодованію, правду сказать, врядъ ли не присоединился бы и весь „западъ“. Давно уже разошлись востокъ и западъ въ своихъ отношеніяхъ къ индѣйцамъ, давно уже вели они глухую борьбу на этой

почвѣ, обзывая другъ друга, съ одной стороны, „мясниками“, съ другой—„пустоголовыми филантропами“‘ и майоръ былъ правъ, говоря, что это „старая исторія“. „Молодцы запада“, непосредственно соприкасавшіеся съ индѣйцами, зарившіеся на ихъ свободныя земли, то и дѣло захватывавшіе куски этихъ земель то тутъ, то тамъ, за что платились, конечно, скальпами, звали индѣйцевъ „краснокожими собаками“, хотя на самомъ дѣлѣ относились къ нимъ хуже, чѣмъ къ собакамъ. Это была вражда органическая, традиціонная, переходившая изъ рода въ родъ. Для неутомимыхъ пахарей, глядѣвшихъ на свой трудъ библейскими глазами, номадъ-охотникъ, защищавшій свои богатые дичью лѣса и степи, былъ только лѣнтяй, врагъ, существо низшее, достойное глубочайшаго презрѣнія и въ поголовномъ истребленіи этихъ номадовъ они видѣли бы свое благо. Для жителей восточныхъ штатовъ индѣецъ, извѣстный тамъ только по разсказамъ, описаніямъ, картинамъ, являлся, прежде всего, вольнолюбивымъ героемъ, окрашеннымъ поэзіей и романтизмомъ дикосвободной жизни. Дикій, независимый, полный презрѣнія ко всякой условной лжи, онъ фигурировалъ въ прелестнѣйшихъ поэмахъ и являлся красивою антитезой въ горячихъ трактатахъ публицистовъ, страстно бичевавшихъ меркан-

тилизмъ и ложь культурной среды и тупость мѣщанства. Съ искреннимъ сожалѣніемъ видѣли лучшіе дѣятели востока, что номадъ-охотникъ обреченъ самимъ ходомъ жизни на погибель и вымираніе, но бороться съ этимъ не могли, ибо „ходъ жизни“, — постоянное, неудержимое заселеніе преріи,—былъ сильнѣе всякихъ распоряженій и предписаній. Президенты и конгрессы издавали въ огражденіе номада правила за правилами, законъ за закономъ, но піонеръ-земледѣлецъ шелъ все дальше и дальше, его топоръ все больше распугивалъ дичь, единственный источникъ существованія номада, а остальное довершала водка и другіе спутники культуры. Изверившись въ обѣщанія одной стороны, дававшіяся подчасъ самимъ „отцомъ блѣднолицыхъ“, порѣшивъ, что бѣлые только лгутъ,—доводимый до отчаянія другою стороной, насиліями, захватомъ, самоуправствомъ, продолжавшимся вопреки „обѣщаніямъ;“—индѣецъ отъ времени до времени выкрашивался краской, выходилъ на „боевую тропу“ и страшно мстилъ врагамъ. Тогда правительству союза волей-неволей приходилось посылать войска въ защиту гражданъ; но какъ только мятежъ подавлялся оно почти всегда принимало мѣры къ огражденію возставшихъ отъ мести бѣлыхъ, противилось казнямъ, что возмущало „западъ“, гдѣ

на значительную часть семей приходилось непремѣнно хоть по одному „скальпу". Такая политика отличалась, можетъ быть, непослѣдовательностью, мало помогала индѣйцамъ, создавала распрю между штатами, но люди, которые ее вели, дѣйствительно глубоко ненавидѣли всякое насиліе, самоуправство, проливаніе крови и казни. И правъ былъ майоръ, утверждая, что все это—дѣло щелкоперовъ и поэтовъ. Правъ онъ былъ, предлагая пари, что тамъ всѣ щелкоперы и барыни считаютъ Чернаго Ястреба героемъ. Да, когда тотъ такъ удачно разбилъ на голову посланныя противъ него войска и „западъ" скрежеталъ зубами, тамъ, на востокѣ, удивлялись его отвагѣ, искусству, а поэты дарили его звонкими рифмами. И громкій, почти общій крикъ всего „востока", что уважать человѣка и героя нужно и въ побѣжденномъ врагѣ, раздавшійся послѣ плѣненія мятежнаго вождя, побудилъ министра потребовать плѣнника подъ видомъ допроса его въ конгрессѣ о причинахъ возстанія—въ Вашингтонъ. И еще былъ правъ майоръ, когда увѣрялъ, что такимъ образомъ индѣецъ могъ ускользнуть отъ заслуженной петли,—въ Вашингтонѣ не любили казней... Допросъ могъ затянуться, страсти за это время могли улечься и мятежный вождь, чего добраго, надѣлавшій столько бѣдъ и тревогъ,

къ восторгу всѣхъ щелкоперовъ и ихъ поклонницъ, могъ быть помилованъ президентомъ.

Г Л А В А III.

О томъ же и еще кое о чемъ, имѣвшемъ непосредственную связь съ извѣстнымъ уже черныиъ муломъ.

А „великій вождь краснокожихъ братьевъ“ сидѣлъ, скованный по рукамъ и ногамъ, въ крошечномъ казематѣ форта, ничего, конечно, не зная. Въ узкое рѣшетчатое окно виднѣлись только край ясно-голубаго неба да высокія отроги Скалистыхъ горъ, подернутые темно-фіолетовою дымкой, но гордому плѣннику точно ничего другаго и не было нужно,—его черные, неподвижные глаза не отрывались отъ окна... Эти горы будили воспоминанія, навѣвали думы, это онѣ заставляли стучать такъ громко сердце въ неподвижной, точно окаменѣвшей груди. У этихъ горъ бродилъ онъ ребенкомъ, тамъ росъ онъ, боролся съ буйволомъ и сѣрымъ медвѣдемъ, тамъ избрали его вождемъ, тамъ онъ, побѣдоносный, разбилъ на голову войска „блѣднолицыхъ со-

бакъ“ и, наконецъ, тамъ же, разбитый въ свою очередь, попался въ плѣнъ... Все тамъ!...

Лицо индѣйца съ его строгимъ профилемъ осунулось, потемнѣло, на лбу прошли глубокія складки... Перья на головѣ, — знакъ его власти, — истрепались; скальпы, — трофеи великой борьбы, — отняты; красное одѣяло, истрепанное, изорванное въ бою, виситъ на его плечахъ лохмотьями. И только глаза его, черные, пронизывающіе, съ царственнымъ взглядомъ вождя, не измѣнились, не потухли, а горятъ еще ярче. Злобы ли стало въ нихъ больше, смѣлости, грусти-ли, — право, рѣшить трудно; но, полные какого-то холоднаго огня, они неустанно устремлены на далекія горы и сверкаютъ неподвижнымъ, металлическимъ блескомъ. Изо дня въ день неподвижно, точно статуя, отлитая изъ темно-красной мѣди, сидитъ съ плотно сжатыми руками индѣецъ, какъ бы не дыша, какъ бы застывъ въ одной и той же позѣ, и смотритъ, смотритъ и смотритъ... Такъ же сидитъ въ неволѣ и смотритъ поджарый, мускулистый горный коршунъ, пока не найдутъ его мертвымъ на полу его клѣтки...

Онъ знаетъ, что поднятое имъ возстаніе пяти племенъ кончено, что все разбито, погибло, что небольшія шайки, бродящія еще тутъ и тамъ, скоро будутъ переловлены, и

если бы человѣческая душа не обладала способностью какъ-то странно тупѣть отъ сверхъестественныхъ, выходящихъ за всякіе предѣлы мукъ, онъ сказалъ бы, что ему невыразимо больно. „Великій вождь“, онъ знаетъ, что пѣсня его спѣта, что не сегодня—завтра придетъ часъ казни, но не смерть, конечно, мрачитъ его взоръ, не она поднимаетъ его грудь судорожнымъ волненіемъ, подавляемымъ громаднымъ напряженіемъ воли. Что̀ ему смерть, когда онъ видалъ ее такъ часто, когда онъ знаетъ, что отойдетъ къ Великому Духу пустыни, куда идутъ всѣ храбрые, что войдетъ онъ туда гордымъ вождемъ и получитъ почетное мѣсто у костра среди другихъ великихъ тѣней за общею неугасимою трубкой! Развѣ не будутъ пѣть о немъ жены, не будутъ славить изъ рода въ родъ его „братья“? Нѣтъ, не это мучитъ гордаго воина,—другое лежитъ камнемъ на его душѣ... Что̀, если великія тѣни нахмурятся при его приходѣ и Великій Духъ скажетъ ему съ укоромъ:

— Ты вошелъ не какъ воинъ... Ты не спѣлъ врагамъ послѣдней пѣсни храбраго!

Вотъ что терзаетъ душу плѣнника неустанно, что страшнѣе ему самой смерти! Не дадутъ ему жестокіе враги умереть смертью воина, не будутъ длить его пытки, а быстро накинутъ позорную петлю подъ немочный гро-

хотъ барабановъ, и умреть онъ безъ слова, какъ трусъ, какъ... Страшная, невѣроятная жестокость! И какъ бы хотѣлось ему, чтобы они, какъ должно врагамъ, медленно рѣзали его кривыми ножами, медленно сдирали съ него кожу, а онъ, непреклонный и гордый, съ торжествующимъ хохотомъ издѣвался бы надъ ними и бросалъ бы имъ въ лицо оскорбленія и проклятія... И много наговорилъ бы онъ этимъ „собакамъ", много! Было у него что сказать имъ!

Началъ бы онъ съ того, что всѣ они—торгаши, живущіе обманомъ, что языки ихъ лживы. Онъ перечислилъ бы имъ всѣ обманы, всѣ нарушенія слова, всѣ бѣды, все зло, что вносили они годами въ среду его братьевъ. Болѣзни, голодъ, пьянство, нищета, — развѣ это не ихъ дѣло? Развѣ не старались они сѣять раздоры между племенами, чтобы удобнѣе завладѣвать землею, и развѣ не углублялись они, вопреки обѣщаніямъ, все дальше и дальше въ зеленую вольную прерію, отъ вѣка отданную для одной охоты индѣйцу? Лживые, гнустные торгаши! А когда во главѣ племенъ онъ поднялъ возстаніе, развѣ не бѣжали они отъ него, какъ подлые трусы?

Такъ думалъ Черный Ястребъ изо дня въ день, такъ думалъ онъ и въ роковой часъ утра, когда внезапно щелкнулъ засовъ и на по-

рогѣ казомата появился майоръ Спаркль, окруженный конвоемъ.

Даже зоркій взглядъ майора не замѣтилъ, какъ индѣецъ вздрогнулъ. Ни одинъ мускулъ, казалось, не шевельнулся на этомъ точно изваянномъ лицѣ, только тѣнь какая-то пробѣжала, быстрая и неуловимая, какъ судорога, не оставивъ на немъ и слѣда. Безстрастный и гордый, казалось, совсѣмъ безучастно поднялся индѣецъ и пошелъ за конвоемъ. Куда, — на казнь?..

Зеленая, волнистая прерія только что проснулась и, вся облитая румянымъ свѣтомъ яснаго утра, тихо дышала привѣтомъ и жизнью, полною свѣтлой радости и безмятежнаго счастья. Все кругомъ стрекотало, чирикало, пѣло, привѣтствуя всплывшее солнце, и высокая зеленая трава, колеблемая свѣжимъ утреннимъ вѣтеркомъ, налетавшимъ отдѣльными порывами, какъ бы вздохами, казалась длинными, вдаль убѣгавшими волнами, и тоже какъ будто шептала. Востокъ горѣлъ багрянцемъ, яркіе лучи котораго тянулись высоко по чистому голубому небу и незамѣтно и мягко, все блѣднѣя и блѣднѣя, тонули въ лазури зенита, гдѣ уже плавно кружился, широко распластавъ крылья, какой-то хищникъ. Тонувшіе въ небѣ высокіе кряжи Скалистыхъ горъ, одѣтыхъ темною дымкой утренняго ту-

мана, ярко горѣли всѣми оттѣнками свѣта, отъ палеваго, похожаго на свѣтъ бѣлой тучки, освѣщенной вечернею зарей, до свѣта ярко пылающаго угля. Все было свѣтло, чисто, ясно, все манило къ себѣ,—все, проникнутое свѣжею радостію, — говорило только о томъ, какъ хороша жизнь... Такого чуднаго утра, казалось, еще не видѣлъ индѣецъ.

На казнь?—Нѣтъ въ Вашингтонъ!..

Нужно было много воли, чтобы не выдать изумленія, сохранить на безстрастномъ лицѣ выраженіе невозмутимо-гордаго безучастія. Еще больше, казалось, нужно было усилій, чтобы понять и повѣрить... Неужели? Зачѣмъ? О, хитры, какъ лисицы, эти бѣлыя собаки и всегда придумаютъ они какую нибудь ловушку, которую и не разберешь сразу!.. Но закаленное сердце индѣйца трепетало въ груди какъ то легко и свободно. Былъ ли то радостный трепетъ инстикта жизни, вызванный отдаленіемъ роковаго часа, или то была смутная, безсознательная надежда на что то, — онъ и самъ не отдалъ бы себѣ отчета.

— Лейтенантъ Свитхартъ, видите вы эту закаленность? — не выдержалъ возмущенный майоръ.—Хоть бы дрогнулъ, собака!.. Точно все равно ему, что въ петлю, что туда...Что вы скажете, сэръ?

— Я скажу, господинъ майоръ, что это возмутительная преступность!—отвѣтилъ долговязый лейтенантъ, не найдя сразу лучшаго выраженія.

— Слово въ слово, какъ и я, лейтенантъ Свитхартъ, чортъ побери! Слово въ слово!—поощрительно подхватилъ майоръ и, кипятясь все больше и больше, энергично принялся торопить великолѣпнаго сержанта Брума.

— Скорѣй!—то и дѣло кричалъ онъ, суетясь у фургона.—Сержантъ Брумъ, вы сегодня возитесь какъ квакерша съ псалмами! Рядовой Джонсъ, глядите молодцомъ, а не медвѣдемъ! Такъ! Эй, вы, саблю! Саблю подтяните, говорю я, сто бомбъ, чиненыхъ Вельзевуломъ!

И когда эскортъ плотно окружилъ фургонъ, а возница уже взялъ въ руки свой длинный бичъ, майоръ вдругъ крикнулъ съ досадой, какъ будто что то вспомнивъ:

— Сержантъ Брумъ и вы всѣ, слушайте!.. Помните, плѣнника нужно доставить не только живымъ, но и не вредимымъ! Слышите, сержантъ Брумъ?

Слышалъ это и плѣнникъ. То, что до сихъ поръ только смутно витало въ его трепетавшемъ сердцѣ, начало было выясняться, слагаться въ цѣльное представленіе, сознатель-

ное живое... Да, онъ ясно слышалъ приказъ!.. Его будутъ беречь, конечно, до казни, чтобы на нее онъ выступилъ бодрымъ и сильнымъ, а не изнеможеннымъ, неспособнымъ выдержать долгую пытку. Онъ узналъ ее, тактику индѣйцевъ, родную тактику съ плѣнными врагами... Очевидно, тамъ хотятъ насладиться его казнью, посмотрѣть, какъ умираетъ индѣецъ.., Неужели же въ самомъ дѣлѣ дадутъ ему враги умереть смертью героя?

И чуть слышный вздохъ какъ-то самъ собою вырвался изъ плотно сжатыхъ устъ индѣйца и потонулъ неслышно въ грохотѣ мчавшагося фургона.

А сержантъ и его спутники поняли этотъ дальновидный, предусмотрительный приказъ, конечно, иначе. Какъ истые сыны запада, они хорошо знали, какія чудеса творитъ иногда телеграфная проволока съ приказаніями, передаваемыми секретно, быстро дѣлающимися подчасъ общимъ достояніемъ совершенно неисповѣдимыми судьбами. Знали они, какъ чутокъ слухъ у „молодцовъ запада“ и какъ не любятъ тѣ церемониться съ приказаніями, приходящимися не по душѣ. Такъ ли оно было или не такъ, но, во всякомъ случаѣ, приблизясь къ Мерезвилю, сержантъ Брумъ приказалъ остановиться, „подтянуться“ и осмотрѣть оружіе.

— Въ случаѣ чего, — глухо сказалъ онъ, хмуря брови и кидая на индѣйца презрительно-злобный взглядъ, — въ случаѣ чего, ребята, сабли вонъ и — въ карьеръ!.. Таковъ приказъ! — вздохнулъ онъ, точно оправдываясь.

И послѣдовавшія событія какъ нарочно вполнѣ подтвердили высокій даръ предвидѣнія великолѣпнаго сержанта. Съ секретною депешой дѣйствительно произошло какое-то чудо, — она выгнала все вознегодовавшее населеніе Мерезвиля далеко за городъ на встрѣчу плѣннику. Несмѣтная толпа, дышавшая одною угрозой, волновалась и напряженно ждала. Молчаливый мистеръ Смитъ, весь синій отъ негодованія, лихо гарцовалъ на знаменитомъ черномъ мулѣ съ бѣлымъ пятномъ на лбу, а политикъ кэптэнъ Артуръ краснорѣчиво доказывалъ право гражданъ судить разбойниковъ судомъ Линча, несмотря ни на какія приказанія. Лишь только показался на дорогѣ эскортъ, толпа моментально смолкла, но только на мгновеніе. За напряженною минутною тишиной раздался общій крикъ: „Линчъ!“

— Загороди дорогу!... Они пустятъ въ карьеръ! — командовалъ выходившій изъ себя капитанъ волонтеровъ. — Загороди скорѣе!

Дорогу загородили телѣгами, на которыя съ разбѣга наскочили передовые конвоя. Грохнулись кони и люди подъ неистовый гомонъ,

раздались выстрѣлы, полетѣли камни, пошла отчаянная свалка... Сержантъ нашелся,—онъ проскакалъ въ объѣздъ съ фургономъ.

— Ну, слава Богу, счастливо отдѣлались!—свободно вздохнулъ онъ, проскакавъ далеко за линію свалки. — Что-то еще впереди будетъ?

Подъ глазомъ у него чернѣла громадная сине-багровая шишка. У Джонса неудержимо лила кровь изъ разбитаго носа.

— И какъ подумаешь, что все это изъ-за гадины, которой давно бы слѣдовало качаться!—злобно прошипѣлъ онъ, ощупывая шишку, и толкнулъ ногой индѣйца.

Тотъ не дрогнулъ; только губы его точно побѣлѣли на мгновеніе, да глаза блеснули... О, онъ съумѣлъ бы отплатить, не будь у него связаны руки! А попадись ему сержантъ, когда онъ былъ вождемъ...

У Чернаго Ястреба дрогнули углы губъ, точно онъ хотѣлъ сладко улыбнуться.

ГЛАВА IV.

Въ которой всецѣло оправдываются слова браваго маіора.

Проскакавъ сравнительно благополучно Мерезвиль, великолѣпный сержантъ вмѣстѣ съ его спутниками воочію убѣдились, какъ плохо хранитъ подчасъ телеграфная проволока ввѣренныя ей тайны и какъ сильно расходится энергичное населеніе „запада“ съ „востокомъ“ въ „индѣйской политикѣ“. Гадая съ тревогой о томъ, что̀ будетъ впереди, сержантъ несомнѣнно обнаружилъ основательныя знанія мѣстныхъ условій и характера населенія. Истина, впрочемъ, требуетъ сказать, что худшаго, собственно, онъ и его спутники за Мерезвилемъ не встрѣчали. Вездѣ, во всякомъ городкѣ, во всякой деревушкѣ они встрѣчали одно и то же — негодующую толпу, вооруженную чѣмъ попало, исполненную самаго страстнаго желанія „утереть носъ вашингтонскимъ филантропамъ“, познакомивъ плѣнника съ завѣтами старика Линча. Разница была только въ большей или меньшей мѣткости, съ какой направлялись то тамъ, то тутъ палки и камни въ тѣхъ, кто такъ

или иначе мѣшалъ исполненію такого страстнаго желанія и въ большемъ или меньшемъ напряженіи изворотливости, подчасъ положительно геніальной, которая требовалась отъ сержанта, чтобы „проскочить“ и, такимъ образомъ, свято выполнить приказъ строгаго майора. Не удивительно поэтому, что въ очень скорое время точили кровь носы всѣхъ конвоировъ, а ихъ лица представляли какую-то странную рельефную маску съ преобладаніемъ сине-багровыхъ и желто-зеленыхъ тоновъ. Ощупывая все новыя и новыя шишки, сержантъ Брумъ вздыхалъ только о „рѣкѣ“, за которой все должно было измѣниться.

— Только бы до рѣки!—вздыхалъ онъ.— Только бы проскочить эту желтую Миссури!

Плѣнникъ, крѣпко связанный, былъ предусмотрительно запрятанъ на самое дно фургона подъ сидѣнья и, такимъ образомъ, о силѣ бомбардировки могъ судить лишь по лицамъ своихъ конвоировъ. До него долетали только грохотъ, крики негодованія, шумъ свалки, ругань, стоны, но вся эта свирѣпая музыка, казалось, нисколько его не волновала, не интересовала, являлась точно самымъ обычнымъ, самымъ естественнымъ для него актомъ. Можно было думать, что плѣнникъ ничего не слышитъ или что все происходящее нисколько его не касается,—до того онъ былъ невозмутимъ

и равнодушенъ къ тому, что творилось вокругъ. Иногда только его черные глаза съ какимъ-то ледянымъ выраженіемъ не то презрѣнія, не то злорадства или насмѣшки молча скользили по лицамъ невольныхъ спутниковъ, на моментъ останавливались на какихъ-нибудь украшеніяхъ вродѣ новой шишки, и тогда углы его плотно сжатыхъ губъ тихо дрожали, точно ему приходилось сдерживать про себя рѣзкое слово или злую улыбку. Такъ было снаружи, но внутри, гдѣ тоже были свои глаза и уши, только невидимые, жило и копошилось другое. Тамъ, внутри, эта жестокая ненависть враговъ, этихъ „блѣднолицыхъ собакъ", будила своеобразную радость, въ которой трепетали вмѣстѣ и гордость, и тщеславіе, и сознаніе своего значенія и силы. Досадилъ же онъ имъ, если всѣ они такъ кипятятся, есть имъ, видно, что помнить! Да, задалъ онъ имъ не мало!... Не можетъ быть, чтобы при такой злобѣ съ нимъ покончили быстро, не насладившись зрѣлищемъ долгой пытки, не постаравшись вырвать изъ его запекшихся устъ позорный стонъ малодушія. Нѣтъ, не можетъ быть!...

Индѣецъ былъ спокоенъ...

Въ концѣ-концовъ, поѣздъ, все-таки, проскакалъ „рѣку" и дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся отъ низкаго, глини-

стаго берега желтой Миссури все дальше на востокъ, картина мѣнялась. Даже типъ и внѣшній видъ обитателей становился иной. Ихъ движенія не были уже такъ порывисты и рѣшительны, въ манерѣ держать себя совсѣмъ отсутствовало безшабашное удальство, рѣчь не пересыпалась чертями и божбою, шляпы не сдвигались на самые затылки, фланелевыя рубашки смѣнились сюртуками и длинные ножи за поясами, эти страшные „бовинойфъ" запада, не пугали робкій глазъ на каждомъ шагу. Ожесточенія и негодованія также становилось все меньше, нападенія прекратились, никакой тактики, чтобы „проскочить" благополучно городокъ или деревушку, не требовалось. Прежнее отношеніе къ плѣннику смѣнялось любопытствомъ, интересомъ и порою даже чѣмъ-то вродѣ состраданія. Въ особенности стало это замѣтнымъ, когда всѣ они пересѣли въ вагонъ желѣзной дороги, добравшись, наконецъ, до крайняго тогда ея пункта. Какъ только публика узнавала, что везутъ Черняго Ястреба, великолѣпный сержантъ убѣждался съ горькою обидой, что онъ стушевывается, становится совсѣмъ какъ бы незримымъ, а всѣ глаза направляются исключительно на индѣйца. Да, на него одного! Съ „нимъ" заговаривали, точно въ самомъ дѣлѣ съ человѣкомъ, а не съ собакой и разбойникомъ, ему предлагали

подчасъ угощенья, даже хлопали по плечу,—его, мятежника, рѣзателя скальповъ, пролившаго столько крови, истребившаго огнемъ столько чудныхъ фермъ!... Самолюбивый сержантъ дрожалъ отъ негодованія.

Но индѣецъ тоже негодовалъ. Эти видимые знаки какого-то участія, интереса, вниманія,—все это, конечно, было лишь насмѣшкой, враждебной, злой, ядовитой! Недаромъ говорятъ дѣды, что въ ласкѣ „бѣлаго" больше яда, чѣмъ въ слюнѣ гремучки, что змѣя жалитъ кусая, а „бѣлый"—лаская. И, полный безмолвно-гордаго, холоднаго презрѣнія, индѣецъ отворачивался, на всѣ вопросы и ласки не удостоивая никого даже взглядомъ.

— Ну-ка, ну-ка! — ликовалъ злорадно въ душѣ сержантъ, — посмотрите, голубчики, стоитъ ли это грубое животное вашей филантропіи!—и чуть не прыскалъ отъ душившаго его смѣха, когда плѣнникъ, напримѣръ, грубо отталкивалъ подносимую сигару.

— Ну, и озлобили же его!—ворчали про себя въ свою очередь пассажиры.

Несмотря на такое отношеніе индѣйца, всеобщіе интересъ и вниманіе къ нему вмѣстѣ съ участіемъ все росли и росли и положеніе сержанта становилось все болѣе щекотливымъ и даже обиднымъ. Иногда ему приходилось совсѣмъ солоно и требовалось много усилій и

воли, чтобы не выйти изъ роли конвоира и не показать „этимъ восточникамъ“, какъ „молодцы запада“ „чистятъ зубы“ зоиламъ. Въ качествѣ истаго сына Марса, бравый сержантъ имѣлъ неудержимую склонность къ прекрасному полу и разъ, когда въ вагонъ впорхнула одна изъ самыхъ дѣйствительныхъ представительницъ этого пола, онъ, естественно, пришелъ въ весьма понятное волненіе. Голубые, какъ небесная лазурь, глаза, темныя длинныя рѣсницы и нѣжныя кудри плѣняли сердце неотразимо и сержантъ немедленно принялъ мѣры выказать свое великолѣпіе во всемъ его блескѣ. Онъ щелкалъ шпорами, опирался на саблю, крутилъ рыжіе усы, продѣлывалъ, словомъ, все, что обыкновенно такъ быстро чаруетъ женское сердце, но, увы, въ данномъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, все было тщетно. Миссъ Алиса и ея спутникъ, немолодой джентльменъ, ея отецъ, всецѣло уставились въ индѣйца.

— Это вождь?... Это Черный Ястребъ?— какъ бы задыхаясь отъ восторженнаго изумленія, спросила дѣвушка, даже не повернувшись, а только шевельнувъ своими чудными рѣсницами въ сторону сержанта.—Да?

Сержантъ встрепенулся и щелкнулъ шпорами такъ жестоко, что могъ разбить въ дребезги даже каменное сердце.

— Такъ точно, миссъ!

Но красавица опять не повернулась, даже не кивнула головкой, а, раскрывъ свои чудныя губки отъ удивленія, такъ и уставилась восторженными глазами въ плѣнника.

— Вождь!—обратилась она вдругъ къ индѣйцу, вся вспыхнувъ,—великій вождь!—поправилась она, краснѣя все больше и раздѣляя слога, чтобы говорить понятнѣе, — вы очень не любите насъ, бѣлыхъ? Да, всѣхъ не любите?

Въ тонѣ наивнаго вопроса этого полу-ребенка, полу-женщины ясно сквозило восторженное удивленіе и состраданіе, но индѣецъ остался, конечно, неподвиженъ и мраченъ, точно не слышалъ, или не понялъ вопроса.

— Онъ не понимаетъ?—снова бросила она вскользь крутившему усъ сержанту.

— О, миссъ, все понимаетъ! Отлично понимаетъ, только не хочетъ! Что прикажете дѣлать? Можно сказать, грубѣйшая скотина!— выпалилъ сержантъ Брумъ съ презрительною улыбкой.

Герой и—грубѣйшая скотина!

Теперь красавица повернулась къ сержанту, но лицомъ, полнымъ гнѣва и негодованія. Голубые глаза стали темнѣе ночи.

— Какъ вы позволяете себѣ, сэръ, такъ выражаться о вождѣ, о героѣ? Низко оскорблять плѣнника, сэръ! Недостойно!...

Подъ одобрительные взгляды и возгласы сосѣдей она дрожала, возмущенная, оскорбленная, негодующая, и была дивно хороша въ эту минуту. Сержантъ Брумъ сидѣлъ неподвижно, весь багровый, какъ свареный ракъ, широко выпучивъ глаза и раскрывъ изумленно ротъ. Признаться, такой видъ былъ далеко не воинственъ и не великолѣпенъ. Онъ это чувствовалъ, но совсѣмъ не зналъ, какъ ему выйти изъ неловкаго положенія. Кстати, его выручилъ сѣдой джентльменъ, отецъ дѣвушки.

— Не плѣнникъ ли такъ отдѣлалъ васъ, сэръ?—спросилъ онъ, поднимая палецъ вровень съ лицомъ сержанта, хранившимъ ясные слѣды недавнихъ штурмовъ.—Не онъ ли, сэръ?

Сержантъ не понялъ, было ли то сочувствіе, или насмѣшка. Во всякомъ случаѣ, онъ былъ радъ вмѣшательству другаго лица, прерывавшему напряженное безмолвіе, и глухо отвѣтилъ:

— О, нѣтъ, сэръ... Это наши...

— Ваши? То-есть кто же эти „ваши“?

— Наши, сэръ,—до рѣки!... У насъ въ преріи не любятъ филантропничать съ разбойниками и мятежниками!—вызывающе гово-

рялъ уже оправившійся сержантъ, самою ехидною ироніей вымѣщая испытанное пораженіе.— Ну, и хотѣли отбить!... Наши шутить не любятъ, сэръ!... У насъ живо: веревку на шею и...

Сержантъ выразительно показалъ рукою, что слѣдуетъ за „и".

— Неужели эти ваши—палачи?—ехидно улыбаясь, спросилъ ближайшій сосѣдъ стараго джентльмена.—Странное ремесло у вашихъ!...

— Палачи? Нѣтъ, сэръ, они славные ребята и хорошіе граждане союза!

— Сомнительно.

— Какъ?—Сержантъ пылалъ и, казалось, вызывалъ на бой цѣлый міръ глазами и выпяченною грудью.—Какъ?

— Конечно!—подхватилъ старый джентльменъ.—Хорошіе граждане не позволяютъ себѣ нападать на слугъ республики, исполняющихъ приказаніе конгресса, переданное министромъ. Конечно!... Это похоже на мятежъ!...

Какъ ни льстило сержанту такое негодованіе по поводу вынесенныхъ имъ потасовокъ въ качествѣ конвоира, но любовь къ дорогому „западу" взяла верхъ надъ всѣмъ. Все могъ онъ вынести, только не глумленіе надъ „молодцами прерій."

— Нѣтъ! — гремѣлъ онъ. — Не мятежъ это!... Нѣтъ, это — право гражданъ! Они

сами, чортъ побери, по-своему хотѣли расправиться съ...

— Значитъ, хотѣли поступить съ индѣйцемъ, какъ индѣйцы съ вами, по-своему... За что же зовутъ ихъ у васъ мятежниками?

— То индѣйцы, а то мы!—кипятился сержантъ.

— И вамъ менѣе простительно, чѣмъ полудикимъ индѣйцамъ! — перебилъ кто-то подъ общій хохотъ, сквозь который рѣзко выдѣлялись отдѣльные выкрики:

— Вы самоуправцы!

— Мятежники сами!

— Всѣ возстанія индѣйцевъ вызываются вами же!

Этотъ хохотъ, крики, обвиненія совсѣмъ было ошеломили сержанта, но онъ быстро пришелъ въ себя. Забывъ и выправку, и положеніе, повинуясь проснувшемуся инстинкту, онъ ловкимъ движеніемъ руки, совсѣмъ не по формѣ, опрокинулъ кэпи на затылокъ, заложилъ руки въ карманы, раздвинулъ ноги, громко сплюнулъ и, стоя въ такой выразительной позѣ, готоваго на бой „молодца преріи“, крикнулъ во всю силу своихъ могучихъ легкихъ:

— Сто дьяволовъ возьми мою душу, если у насъ не такіе же вѣрные граждане союза, какъ и у васъ! Двѣсти дьяволовъ, джентль-

мены! Можетъ быть, у насъ хуже понимаютъ, какою собственно должна быть республика, что нужно отъ ея гражданина, но за каждую букву въ этомъ словѣ, за каждую звѣзду на нашемъ знамени мы всѣ умремъ до единаго, — всѣ, съ дѣтьми и внуками, граждане! Тысячу дьяволовъ съ самимъ Вельзевуломъ во главѣ! Вотъ, какъ!

Индѣецъ все видѣлъ, все слышалъ, но въ этомъ горячемъ спорѣ ему стало ясно одно, что и между бѣлыми какъ будто идутъ свои распри... Точь-въ-точь, какъ у краснокожихъ, гдѣ племена отъ вѣка враждуютъ другъ съ другомъ, гдѣ команчи ненавидятъ черноногихъ, тѣ, въ свою очередь, оседжей и т. д., и т. д. Старая это, но и грустная исторія, и не будь ея, можетъ быть, краснокожіе не уступили своей земли блѣднолицымъ. Неужели же и бѣлые дѣлятся на племена, враждующія другъ съ другомъ? Онъ думалъ всегда, что они всѣ за одно, что между ними нѣтъ распрей, несогласій и споровъ... Онъ думалъ, что всѣ они одно племя и что въ этомъ ихъ страшная, непреоборимая сила.

И все время, пока сержантъ Брумъ говорилъ свое слово, пересыпанное чертями, невозможнѣйшими проклятіями и самою жестокою божбой, индѣецъ глядѣлъ вокругъ удивленными глазами.

Поѣздъ подлетѣлъ къ станціи и споры прекратились. Миссъ Алиса съ отцомъ направились къ выходу, но у самыхъ дверей вагона дѣвушка внезапно остановилась. Нѣсколько мгновеній она стояла, казалось, въ какой-то нерѣшительности, точно колеблясь или рѣшаясь на что-то... И вдругъ рѣшилась!... Быстро шевеля красивыми длинными пальцами, она вынула изъ волосъ бѣлую кисть акаціи и, вся побагровѣвъ, кинула ее плѣннику. Цвѣтокъ ударился о плечо и по складкамъ одѣяла на груди скатился къ индѣйцу на колѣни. Своими нѣжными лепестками онъ коснулся его жесткой, мускулистой руки... Индѣецъ какъ будто вздрогнулъ и невольно шевельнулъ рукою.

— А!—рѣшилъ онъ про себя,—навѣрное, скальпировалъ какого-нибудь жестокаго врага ея племени или рода!

И въ первый разъ еще онъ поднялъ на бѣлаго свои глаза безъ злобы и презрѣнія.

ГЛАВА V.

Изъ которой между прочимъ ясно, въ какое подъчасъ затруднительное положеніе могутъ ставить своихъ мужей самыя восхитительныя супруги.

Столица проснулась въ большомъ возбужденіи. Еще наканунѣ сотни репортеровъ полетѣли па встрѣчу интересному плѣннику и теперь столбцы всѣхъ газетъ пестрѣли описаніями, впечатлѣніями и разсказами объ этой встрѣчѣ. Чернаго Ястреба разбирали на всѣ лады: одни находили его „величественнымъ", другіе „грубымъ", третьи „жестокимъ", четвертые „геніальнымъ" и т. д.,—о немъ говорили на всевозможные тоны, отъ ядовито-остроумнаго, до тона исполненнаго торжественности и пафоса. Но рѣшительно всѣмъ— и находившимъ въ немъ нѣчто „царственное", и усматривавшимъ въ его лицѣ выраженіе одной „дикой жестокости",—всѣмъ приходилось, къ сожалѣнію, констатировать общій фактъ, что индѣецъ упорно отмалчивался на всѣ вопросы и приставанія и, видимо, относился къ „бѣлымъ" съ холодною, презрительною злобой. Все это, казалось, дѣлало его еще интереснѣе, загадочнѣе, и въ пылкомъ

воображеніи очень многихъ мечтательно-романтически настроенныхъ „миссъ“ и „лэди“ какъ-то невольно вставалъ величественный образъ не то полубога-героя, не то загадочнаго сфинкса.

Близилось вакаціонное время и столица понемногу начинала скучать. Все уже пріѣдалось—и рѣчи ораторовъ, интересныя засѣданія конгресса, митинги, всевозможныя собранія и театры, концерты, даже балы. Весна манила уже въ зеленые, веселые луга, въ темныя рощи, одѣвшіяся свѣтлою, пахучею, недавно развернувшеюся листвой, къ синему морю, на роскошномъ берегу котораго такъ любятъ проводить лѣто вашингтонцы. Но установленный для того обычаемъ часъ былъ еще сравнительно далеко и волей-неволей приходилось сидѣть въ городѣ, коротать время день за днемъ среди однихъ и тѣхъ же пріѣвшихся впечатлѣній. Въ это-то глухое время, когда всѣ рады любому, самому незначительному, лишь бы только новому явленію, и прибылъ въ столицу Черный Ястребъ.

Конечно, все ожило, встрепенулось, засуетилось,—явились живыя темы для разговоровъ и дебатовъ, нашлось куда дѣвать часы скучнаго досуга. Черный Ястребъ заполонилъ собою все; только и рѣчи было, что о немъ, только и желанія, что его увидѣть. Витрины

магазиновъ украсились его портретами, на которыхъ истрепанное одѣяло индѣйца преображалось въ древне-римскую тогу съ ея красивыми складками, и пестрѣли картинами боевыхъ схватокъ, гдѣ Черный Ястребъ во всевозможныхъ видахъ и позахъ, то на бѣшенномъ конѣ, то на ногахъ съ неизмѣннымъ томагаукомъ въ рукѣ, выдѣлялся и величиной, и осанкой. Явились въ продажѣ даже духи, помада, мыла и много другой мелочи, о которой самъ индѣецъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, подъ его именемъ и съ его изображеніемъ. Видѣть настоящаго, дикаго индѣйца, да еще такого героя-вождя, такого красавца, какимъ изображали его на картинахъ, современнымъ жителямъ столицы еще не приходилось, и Черный Ястребъ, безусловно, сталъ „модой".

— Тобби!—томно говорила за завтракомъ, прелестная мистрисъ Барнаби своему мужу, очень вліятельному конгрессмену, въ то самое утро, какъ въ столицу прибылъ плѣнникъ,— милый Тобби, вы, конечно, знаете мои нервы?

— О, да, Бэтси, я знаю... Ужасные нервы!—быстро возразилъ мистеръ Барнаби, невольно вздрогнувъ и даже совсѣмъ забывъ планъ обдумываемаго было политическаго шага при одномъ напоминаніи о „нервахъ". — Ужасные нервы!

— И вы помните,—столь же томно продолжала прелестная мистрисъ, — что докторъ безусловно запретилъ всякія противорѣчія?

— Какъ же, дорогая Бэтси, я отлично помню!... Противорѣчія вызываютъ истерію... Да, да!—вздохнулъ мужъ.

— Какъ вы милы, Тобби! —и томный взоръ, кинутый мистрисъ Барнаби мужу, былъ полонъ самой нѣжной благодарности. — Да, вы очень милы, Тобби! И вы, конечно, постараетесь достать для своей крошки Бэтси входный билетъ къ плѣннику?.... Правда, Тобби? — и мистрисъ Барнаби совсѣмъ подѣтски склонила головку и лукаво надула губки.

— Входный билетъ, Бэтси? — Мистеръ Барнаби насупился. — Входный билетъ! Но, вѣдь, это очень трудно, почти невозможно. Вы знаете, Бэтси, что плѣнникъ еще не допрошенъ, что онъ въ распоряженіи военной власти, что...

Но томные глазки прелестной мистрисъ стали закатываться, высокая грудь судорожно заходила, предупреждая объ истеріи, и мистеръ Барнаби долженъ былъ вспомнить, что противорѣчія запрещены безусловно.

Съ этого утра вопросъ о „входныхъ билетахъ“ къ плѣннику сталъ самою жгучею темой въ семейныхъ разговорахъ. Возможность

добраться до индѣйца стала чѣмъ-то вродѣ крупнаго выигрыша въ лотерею или полученія интереснаго приза и ради нея пускалось въ ходъ все, даже интрига. Въ бомондѣ, въ средѣ его прелестной половины это стало даже чѣмъ-то обязательнымъ, и не видѣть „этого чуднаго Ястреба“ или „несчастнаго узника“—значило бы почти то же самое, что явиться, напримѣръ, на оффиціальный балъ, въ „Бѣлый Домъ“, въ домашнемъ капотѣ. Изъ-за первенства, изъ-за того, кто увидитъ скорѣе, пошли даже ссоры и ходили шутки, что изъ-за возгорѣвшейся такимъ образомъ войны женъ немного пострадала группировка партій въ конгрессѣ. Счастливицы, добиравшіяся, благодаря протекціи и связамъ, до узника, подзадоривали другихъ увѣреніями и восклицаніями, что онъ „душка“, „величественный“, „гордый“, „ахъ, какой!“ и т. д., расписывали на всѣ лады свое „восхищеніе“, увѣряли, что плѣнника „непремѣнно нужно выпустить“, бранили „этихъ противныхъ западниковъ, которые его такъ озлобили“, и всѣмъ этимъ, конечно, только подливали въ огонь масла. „Миссъ“ и „лэди“ только и говорили, что о входныхъ билетахъ, не давали покоя ни мужьямъ, ни женихамъ, ни знакомымъ, и непрекрасная половина, всѣ конгрессмены и бизинесмэны, имѣвшіе связи и влія-

ніе, правду сказать, возроптали и въ глубинѣ души предавали анафемѣ ни въ чемъ, въ сущности, неповиннаго въ этой кутерьмѣ индѣйца. „Мода“ мало-по-малу охватывала всѣ сферы.

Мистрисъ Стэръ, благоразумнѣйшая изъ женъ, по увѣренію ея супруга, банкира, какъ только узнала отъ своей подруги, прелестной Бэтси, что та добралась-таки до плѣнника, какъ только услышала ея восторги,—провела безсонную ночь и заболѣла мигренью. Положительный банкиръ, немного встревоженный извѣстіемъ о болѣзни, придя въ спальню жены, увидѣлъ среди батиста, кружевъ и блондъ такое истомленное, болѣзненное и печальное личико, съ такимъ страдальческимъ выраженіемъ въ милыхъ глазкахъ, что сейчасъ же хотѣлъ сзывать консиліумъ.

— О, Джемми, зачѣмъ эти расходы?—совсѣмъ умирающимъ голосомъ, еле-еле проговорила благоразумная больная, никогда не забывавшая интересовъ супруга.—Вы знаете, что врачи никогда не понимаютъ нашихъ женскихъ страданій... Наша организація...

— Но, мой другъ, вы совсѣмъ больны!—перебилъ ее не на шутку перепуганный банкиръ,—у васъ ужасный видъ!... Я боюсь...

— Благодарю, милый Джемми, у васъ золотое сердце и я всегда это знала,—отвѣчала

больная, кидая на мужа взглядъ, отъ котораго совсѣмъ размякло его „золотое“ сердце.— Но я не хочу врачей. Нѣтъ, Джемми, это нервы! Лучше всего небольшая прогулка... развлеченіе...

— Такъ зачѣмъ же дѣло стало, милая Мэри, поѣзжайте куда хотите.

— А входный билетъ, Джемми? Мнѣ такъ хочется видѣть этого плѣнника. Всѣ къ нему ѣздятъ, только я... одна я!...—и крупныя слезы покатились градомъ изъ глазъ мистрисъ Мэри.

— Входный билетъ?... Но, вѣдь, это такъ трудно. Вы знаете... я не членъ конгресса, не принадлежу къ администраціи!—взволновался банкиръ.—Да и что тамъ интереснаго, Мэри? Грубый дикарь...

— О, Джемми!—Мистрисъ Мэри рыдала.

— Конечно, грубый дикарь и только!— продолжалъ все больше волновавшійся и сердившійся супругъ.—Эти входные билеты всѣхъ сбили съ толку! Право, лучше было бы, если бы этого дикаря вздернули на Западѣ!

— Вздернули?!—Мистрисъ Мэри совсѣмъ разрыдалась и подняла руки къ головѣ.

— Идите, Джемми!—негодующе говорила, рыдая благоразумнѣйшая супруга. — Идите! Я не могу слышать такой жестокости! —

Идите же и вздергивайте... Идите и не мучьте меня!...

И проклиная въ душѣ всѣхъ индѣйцевъ на свѣтѣ, моды и капризы женщинъ, уничтоженный банкиръ долженъ былъ поклясться во что бы то ни стало достать этотъ проклятый билетъ.

— А, все-таки, ей-Богу, было бы лучше, если бы его тамъ вздернули!—вздохнулъ онъ про себя, направляясь въ свою контору, и, правду сказать, такое мнѣніе раздѣляли съ нимъ теперь очень многіе представители некрасивой половины бомонда въ Вашингтонѣ.

А индѣецъ напрягалъ всѣ силы своего мозга, чтобы понять все то, что творилось у него передъ глазами. Дикій сынъ степей, ошеломленный условіями и картинами совсѣмъ неизвѣстнаго ему, новаго быта, — онъ, казалось, растерялся и на первыхъ порахъ ничего не могъ ни уяснить, ни сообразить. Вождь и воинъ, онъ не могъ понять ни этихъ какъ бы ласкъ, ни участья, ни этого ухода и удобствъ, почти роскоши, расточаемыхъ ему исконными, смертельными врагами; узникъ и врагъ, обреченный на казнь, разсчитывавшій на самую лютую пытку, — онъ не могъ вѣрить намекамъ и даже порой прямымъ увѣреніямъ, что ему не сдѣлаютъ зла, что его выслушаютъ, дабы помочь его братьямъ. А,

между тѣмъ, все это было не сонъ, не сказка, — все это стояло передъ нимъ неотразимымъ фактомъ и въ этомъ фактѣ нужно было такъ или иначе разобраться. А какъ разобраться, когда въ прошломъ не было для этого прецедентовъ, когда все это прошлое учило лишь одному, что „бѣлые“ — враги, исконные и непримиримые, что слова ихъ и обѣщанія лживы, что они хитры, какъ лисицы? Какъ разобраться, когда все, что было сдѣлано ими, ихъ отцами и дѣдами, все это завѣщало его сердцу одну непримиримую вражду?

Онъ допускалъ, что и у бѣлыхъ, какъ и среди его братьевъ, есть свои распри, что они тоже дѣлятся на племена, враждующія между собою. Врагъ его враговъ, тѣхъ, что разбилъ онъ на голову, что скальпировали его воины, могъ быть, конечно, ему другомъ... Но не въ средѣ же онъ отдѣльнаго, чуждаго другимъ и враждебнаго племени, — онъ въ самой столицѣ, откуда идутъ всѣ распоряженія и законы, гдѣ живетъ самъ отецъ блѣднолицыхъ, которому они повинуются и подчиняются, который распоряжается войсками! Что же значатъ эти улыбки, цвѣты и сласти, которыми надѣляютъ его здѣсь красивыя жены „бѣлыхъ“, эти дружескіе разспросы ихъ мужей и братьевъ, эти ободряю-

щіе намеки? Что же значитъ, наконецъ, это удобство и роскошь его тюрьмы, о какихъ никогда и не снилось индѣйцу, какихъ онъ не видѣлъ даже у „бѣлыхъ“ въ ихъ пограничныхъ фермахъ?

Сердце его билось враждою, умъ пылалъ недовѣріемъ и подозрѣніемъ,—прошлое рисовало одно зло и горе. Этимъ ласкамъ, участію, вниманію, уходу онъ, конечно, не долженъ былъ вѣрить. Все это ложь, обманъ, за которыми кроется втихомолку, затаенно обдумываемое зло,—такъ учили его еще дѣды. Вождь, онъ долженъ быть на сторожѣ! Онъ помнилъ разсказы о подкупахъ бѣлыми золотомъ и лаской, онъ самъ зналъ, какъ позорно измѣняли своимъ и племена, и вожди...

Онъ понялъ, наконецъ, что его хотѣли купить.

Индѣецъ невольно поднялся, выпрямился, глаза его блеснули злобнымъ огнемъ, уста искривились зловѣщею улыбкой. Если бы они пустили его назадъ, къ „своимъ“, онъ показалъ бы имъ, какъ продается Черный Ястребъ! Еслибъ онъ могъ ихъ обнять всѣхъ сразу своими стальными руками, имъ не приходилось бы никогда уже думать о подкупѣ индѣйца! Купить! Еслибъ онъ могъ зажечь самую землю со всѣмъ, что хранятъ ея глубокія нѣдра, и похоронить въ этомъ пламени

всѣхъ своихъ братьевъ,—лишь бы испепелить населеніе блѣднолицыхъ, — онъ бы, конечно, это сдѣлалъ. Купить!—затрепетало злобнымъ смѣхомъ все, что наполняло его душу... Пусть на него посмотрятъ, моргнетъ ли онъ глазомъ, когда они будутъ тянуть изъ него жилы!

И взглядомъ, полнымъ величественнаго презрѣнія, полнымъ невыразимой злобы, встрѣчалъ онъ всѣхъ блѣднолицыхъ, безразлично, были ли то скучавшія дамы бомонда съ ихъ улыбками, цвѣтами и сластями, были ли то серьезные ученые, желавшіе узнать отъ него о бытѣ индѣйцевъ, члены конгресса, требовавшіе отъ правительства болѣе широкой гуманности по отношенію къ краснокожимъ, или, наконецъ, репортеры газетъ, громившихъ жестокость бѣлыхъ, населяющихъ пограничную область съ территоріей индѣйцевъ. Этимъ взглядомъ онъ, казалось, говорилъ имъ, какъ легко его купить! И тѣ, что встрѣчали этотъ взглядъ, если они умѣли понимать его выраженіе, невольно содрогались, — до того краснорѣчиво говорилъ онъ имъ о томъ, что внесла ихъ культура въ среду человѣка-номада.

Обыкновенно плѣнникъ сидѣлъ неподвижно и молча, согнувшись, уткнувъ сложенныя руки въ колѣни, ни на кого и ни на что не глядя и какъ бы ничего не понимая. Посѣтителямъ

могло казаться, что онъ погруженъ въ одну глубокую, сосредоточенную думу, изъ которой не хочетъ и не можетъ выйти. Когда входившіе хлопали его по плечу и, улыбаясь, говорили какое-нибудь привѣтствіе, онъ молча поднималъ на мгновеніе голову, молча окидывалъ ихъ быстрымъ, пронизывающимъ взглядомъ и сейчасъ же вновь принималъ обычную позу, точно все, что творилось кругомъ, всѣ эти привѣтствія, улыбки, приношенія относились не къ нему. Такъ же неподвижно и молча встрѣчалъ онъ всѣ разспросы и даже назойливыя приставанія репортеровъ. Снаружи, это былъ какой-то манекенъ-человѣкъ, но только снаружи. Внутри, подъ этою видимою оболочкой безучастія и покоя, вѣчно на-сторожѣ, страстно жило невидимое внутреннее око, зорко слѣдившее за каждымъ шагомъ, каждымъ жестомъ враговъ. Каждый часъ, каждую минуту оно подозрѣвало и ждало хитрыхъ ловушекъ, на которыя такіе мастера эти „блѣднолицыя собаки" и въ которыя такъ часто и такъ легко попадали наивныя дѣти пустыни.

Но разъ, когда самъ министръ, окруженный посѣтителями, предложилъ ему вопросъ: отчего его братья такъ ненавидятъ бѣлыхъ, онъ раскрылъ свои плотно сжатыя уста... И если у тѣхъ, что стояли тогда вокругъ него, были сердца, они должны были сжаться отъ

боли и стыда за тѣ бѣды и страданія, насиліе и горе, о которыхъ говорилъ вождь этими странными гортанными звуками, этою наивною, неправильною, ломанною рѣчью!.. И если была у нихъ совѣсть, она должна была проснуться и, охвативъ встревоженныя души порывомъ раскаянія и жгучей скорби, побудить „враговъ“ отказаться отъ своей неправды. За что ненавидятъ „бѣлыхъ“?—спрашивалъ вождь, и глаза его горѣли, и губы дрожали,—а пролитая кровь его братьевъ, а отнятыя земли, а насилія и обманы!—Гортанные звуки, полные обиды, боли и злобы, рѣзали ухо,—страшная повѣсть о насиліяхъ невольно терзала сердце... Нѣтъ, лучше, умереть въ бою, какъ воинамъ, чѣмъ нести дольше такое гнусное иго, лучше смерть подъ самою лютою пыткой!.. Такъ рѣшили его храбрые братья!

Онъ говорилъ не въ защиту своихъ, онъ не просилъ ни состраданія, ни пощады, онъ кидалъ въ лицо „бѣлыхъ“ обвиненіе. То былъ не узникъ, не плѣнникъ, — передъ ними съ горѣвшимъ лихорадочнымъ взглядомъ, съ гордою осанкой стоялъ „великій вождь“, не знавшій примиренія, понимавшій только два исхода: смерть или побѣду.

Лицо министра стало блѣдно, на лбу у него прошла глубокая складка.

— А жаль, — вздохнулъ онъ, выходя на улицу,—право, глубоко жаль этихъ наивныхъ, какъ дѣти, дикарей... Много, вѣдь, у него правды!

— О, конечно!—отвѣтилъ также грустно его спутникъ, вліятельный членъ конгресса.— Конечно, онъ говорилъ правду!... Но съ фатумомъ нельзя бороться... Ихъ гибель при столкновеніи съ культурой—фатумъ! Что бы мы ни предпринимали въ ихъ защиту, прерія, все-таки, будетъ принадлежать земледѣльцу!

ГЛАВА VI.

Нѣчто о сладкозвучной сиренѣ и закоснѣломъ сердцѣ.

Дни пролетали за днями и плѣнникъ мало-по-малу началъ приходить въ волненіе, скрывать которое становилось ему все труднѣе. Нервы не выдерживали этого напряженнаго ожиданія, этого томительно-лихорадочнаго подозрѣнія съ часу-на-часъ подвоховъ и ловушекъ со стороны враговъ, давно, конечно, осудившихъ его на лютую казнь, отложенную лишь, можетъ быть, въ надеждѣ на его из-

мѣну, на то, что, подкупленный ихъ лаской, онъ предастъ своихъ. Какъ ни прислушивался индѣецъ, какъ ни ловилъ подозрительнымъ слухомъ каждое слово, враги, попрежнему, не обнаруживали ясно своихъ тайныхъ цѣлей и козней, попрежнему, продолжали дарить его тонко разсчитанными улыбками и участіемъ, попрежнему, осыпали своими разспросами. О, хитры же эти бѣлыя собаки! Но, такъ или иначе, изъ такого напряженнаго состоянія нужно было выйти, нужно было показать имъ, что ихъ надежды напрасны, что ничего, кромѣ казни, какой угодно, самой жестокой, онъ, великій вождь, отъ нихъ не приметъ!

И съ каждымъ днемъ Черный Ястребъ становился все угрюмѣе, все большею злобой дышали его взоры, все страстнѣе и напряженнѣе ждалъ онъ грядущаго объясненія.

И оно пришло. Разъ ему сказали, наконецъ, что завтра навѣститъ его важное, всѣми уважаемое лицо, знаменитый проповѣдникъ, который хочетъ поговорить съ нимъ по душѣ, какъ съ другомъ...

Съ другомъ! Индѣецъ захохоталъ про себя. Хорошо, онъ выслушаетъ этого "друга"! И онъ тоже найдетъ для него „дружеское" слово! Хорошо, пусть придетъ „этотъ другъ"!

Наконецъ-то! нахмуренное чело плѣнника разгладилось. Эту ночь онъ проспалъ дѣтски-спокойно.

Мистеръ Черчмэнъ, знаменитый проповѣдникъ, самая яркая звѣзда новой модной секты, потрясавшій и умилявшій сердца всѣхъ посѣтительницъ молельни, рѣшилъ пойти къ озлобленному индѣйцу, и объ этомъ, конечно, громко заговорила вся секта. Онъ рѣшилъ пойти къ нему „съ масличной вѣтвью примирѣнія“, съ проповѣдью любви и прощенія на своихъ полныхъ, красивыхъ губахъ,—рѣшилъ „потрясти это озлобленное, гордое сердце“, и своимъ могучимъ словомъ, творившимъ такія чудеса съ сердцами бомонда, „озарить его свѣтомъ истины“. Конечно, это было трудное дѣло, это былъ цѣлый подвигъ, но на то же онъ былъ и мистеръ Черчмэнъ. Въ цѣломъ Вашингтонѣ никто не умѣлъ такъ глубоко и сокрушенно вздыхать о сквернахъ міра, никто не умѣлъ такъ страстно бичевать порока, никто не умѣлъ, вперивъ свой пронизывающій взоръ прямо въ сердце прелестной грѣшницы, такъ страстно рисовать прелести искупленія. Мистеръ Черчмэнъ не сомнѣвался, что онъ сотворитъ чудо, что этимъ чудомъ онъ прибавитъ новый лучъ къ своему ореолу. Дикій и наивный сынъ степей, трепещущій въ ожиданіи возмездія и казни за свои преступленія, никогда не слыхавшій ничего о любви и прощеніи, онъ падетъ ницъ, конечно, передъ этимъ но-

вымъ словомъ и всецѣло раскается въ своихъ заблужденіяхъ. Мистеръ Черчмэнъ попробуетъ превратить врага въ брата!

И они встрѣтились: онъ, знаменитый проповѣдникъ, готовый сотворить чудо, способный оживлять камни, и этотъ хмурый, гордый вождь, дикій и съ виду безстрастный, полный ненависти, которой лихорадочно горѣли его глаза, полный страстнаго желанія поскорѣе разоблачить эту томительную „игру“ бѣлыхъ. Мистеръ Черчмэнъ, по обыкновенію, вошелъ торжественно, медленно и важно, весь въ черномъ, смиренно и глубокомысленно потупивъ свои взоры. Дойдя до узника на шагъ, онъ остановился и поднялъ глаза.

Индѣецъ смотрѣлъ на него прямо въ упоръ...

Говорятъ, когда гремучка поймаетъ взглядъ робкаго степнаго кролика, тотъ не можетъ оторвать уже своихъ глазъ, не можетъ двинуться съ мѣста, впадая въ какую то странную каталепсію. Нѣчто аналогичное испытывалъ и мистеръ Черчмэнъ. Этотъ горѣвшій, какъ у волка, взглядъ приковалъ его къ мѣсту, эти два глаза вонзились въ него точно гвозди. Чара какой то силы, казалось, крылась въ нихъ, и нѣсколько мгновеній знаме-

нитый проповѣдникъ простоялъ молча, какъ бы растерявшись, совсѣмъ забывъ заранѣе обдуманный планъ покоренія озлобленнаго индѣйца. Наконецъ, онъ совладалъ съ собою, вспомнилъ и, не спуская глазъ, важно и глухо произнесъ:

— Здравствуй, братъ мой!

Индѣецъ всрепенулся весь, точно дикая птица, когда человѣкъ вплотную подойдетъ къ ея клѣткѣ.

— Развѣ бѣлые намъ братья? — спросилъ онъ своимъ рѣзкимъ гортаннымъ голосомъ, хмуря въ удивленьи брови и чуть-чуть улыбаясь.

— Да, братья!

Мистеръ Черчмэнъ совсѣмъ оправился; разговоръ начинался именно такъ, какъ онъ обдумалъ заранѣе.

— Да, бѣлые братья тебѣ, Черный Ястревъ! — повторилъ онъ тѣмъ же торжественнымъ тономъ, что производилъ такой фуроръ въ его молельнѣ.

И мистеръ Черчмэнъ началъ свое заготовленное слово. Рѣчь его, полная образовъ и аналогій, лилась плавно и свободно, тонъ его голоса красиво вибрировалъ, повышаясь и понижаясь. Онъ то гремѣлъ бурными раскатами, то мгновенно стихалъ до бархатнаго шепота, пріятно ласкавшаго ухо. Мистеръ

Черчмэнъ говорилъ о великомъ ученіи любви, исповѣдуемомъ бѣлыми, о завѣтахъ и терновомъ вѣнкѣ великаго Учителя, призывавшаго всѣхъ къ единенію и братству, завѣщавшаго людямъ миръ и смиреніе. Мистеръ Черчмэнъ бичевалъ ненависть и злобу, называлъ грѣхомъ насиліе, обманъ и пролитіе крови. Всѣ люди на землѣ братья и всѣ должны любить другъ друга, должны прощать свои обиды. Великій Учитель завѣщалъ людямъ всепрощеніе и милосердіе. Черный Ястребъ, если онъ не хочетъ поплатиться страшнымъ наказаніемъ, долженъ сознать свои заблужденія, долженъ отрѣшиться отъ своей злобы.

— А!—вырвалось у индѣйца.

— Просвѣтись же, Черный Ястребъ, и стань изъ врага братомъ! — закончилъ торжественно проповѣдникъ.

Индѣецъ слушалъ молча, ни одинъ мускулъ его лица не дрогнулъ и только глаза его мѣняли порой выраженіе. За то сердце его трепетало и билось такою злобой, что иногда у него почти не хватало силы сдержать ее и не выдать. Вотъ, онъ, наконецъ, настоящій ходъ бѣлыхъ! Лисица показала свою тропу!... Хорошо же, и у него найдется свое слово, онъ отвѣтитъ, какъ и должно великому вождю!... Но онъ еще сдержалъ себя.

— И бѣлые исповѣдуютъ это ученіе? — спросилъ онъ, причемъ гортанные звуки его голоса слегка дрожали.

Мистеръ Чёрчмэнъ уловилъ это дрожаніе и торжествовалъ побѣду.

— Да, Черный Ястребъ, это ихъ учетіе.

— И тѣ бѣлые, что живутъ за рѣкой?

— Да, и тѣ.

Сдерживать себя дольше было не нужно.

— Ты лгунъ, блѣднолицый! — съ невыразимымъ презрѣніемъ и въ тонѣ, и въ лицѣ отвѣтилъ индѣецъ. —Ты гнустный лжецъ, какъ и всѣ твои братья! Но такой гнусной лжи еще не слыхало мое ухо!.

Пораженный мистеръ Чёрчмэнъ отступилъ на шагъ. Или онъ ослышался, или индѣецъ рехнулся... Но тотъ, задыхаясь отъ негодованія и презрѣнія, своею отрывистою, построенною такъ неправильно рѣчью приводилъ проповѣдника все въ большее смущеніе. Онъ давно понималъ, что бѣлые хотятъ его купить, какъ не разъ покупали его братьевъ. Они отдаляли его казнь и ухаживали за нимъ, надѣясь на измѣну. Но великій вождь не измѣнитъ и спокойно пойдетъ на казнь. Блѣднолицые — собаки, которыхъ онъ глубоко презираетъ и словамъ которыхъ не вѣритъ. Сѣрый медвѣдь менѣе лютъ и шакалъ менѣе труслива, чѣмъ бѣлый. Онъ покажетъ имъ,

какъ умираетъ воинъ! Бѣлые дышатъ злобой и полны ядомъ, какъ гремучая змѣя... Не самъ ли блѣднолицый сказалъ ему, что они казнили своего великаго Учителя? И послѣ того онъ пришелъ увѣрять его, что враги кротки?!... Лжецъ!

Мистеръ Чёрчмэнъ ушелъ совсѣмъ уничтоженный.

Конечно, адепты враждебныхъ сектъ его осмѣяли. Не нужно брать на себя слишкомъ много, ко всякому дѣлу нужно подходить осторожно, зрѣло обдумавъ каждое слово. Черный Ястребъ былъ совершенно правъ, встрѣтивъ такъ подобный апломбъ, подобную самоувѣренность, ни на чемъ не основанную. Въ такихъ дѣлахъ нельзя дѣйствовать круто и сразу, тутъ много значитъ постепенность, и мистеру Чёрчмэну непремѣнно нужно зарубить это на своемъ длинномъ носу!

Друзья же проповѣдника обвиняли во всемъ жителей „запада“, такъ сильно озлобившихъ этихъ наивныхъ дикарей, и, конечно, послѣдователей враждебныхъ сектъ, не постаравшихся раньше внести къ нимъ „истиннаго свѣта“.

Эта полемкиа печаталась на столбцахъ безчисленныхъ газетъ, и безъ того удѣлявшихъ очень много мѣста разсказамъ и разсужденіямъ о Черномъ Ястребѣ. Печать, какъ и обще-

ство, начинала уже шумѣть и волноваться изъ-за долгаго заключенія узника, обвиняя министерство въ проволочкѣ допроса. Такъ могли поступать, конечно, только съ индѣйцами, съ которыми всегда поступаютъ незаконно и несправедливо! Бѣлый, несомнѣнно, былъ бы уже давно допрошенъ и, во всякомъ случаѣ, его не томили бы въ заключеніи. Да, конечно, этотъ допросъ разоблачилъ бы ужасныя вещи, онъ обнаружилъ бы всю жестокость, всю несправедливость „бѣлыхъ“ и всю дряблость правительства союза, не умѣющаго энергически встать на защиту несчастныхъ дикарей, онъ оправдалъ бы возстаніе этихъ несчастныхъ дѣтей прерій, доведенныхъ до отчаянія, но пора же, наконецъ, взглянуть на дѣло какъ оно есть, трезвыми глазами, пора сознать свои ошибки и постараться ихъ исправить. Черный Ястребъ былъ совершенно правъ, когда не повѣрилъ, что бѣлые исповѣдуютъ великое ученіе любви и мира, и пока дѣло будетъ стоять такъ, какъ оно стоитъ, ни одинъ индѣецъ, конечно, этому не повѣритъ никогда.

Такъ говорила печать, то же повторяло все общество и министерство чувствовало себя, правду сказать, въ большомъ затрудненіи. Это затрудненіе крылось не въ допросѣ плѣнника, — допросить можно было всегда — оно

заключалось въ невозможности рѣшить вопросъ: какъ быть съ плѣннымъ вождемъ послѣ допроса, что съ нимъ дѣлать? О казни, хотя Черный Ястребъ и былъ осужденъ военнымъ судомъ, не могло быть, конечно, и рѣчи и помилованіе президентомъ было несомнѣнно,—но что же съ нимъ дѣлать дальше? Отпустить его къ своимъ — значило впереди имѣть новое возстаніе, можетъ быть, болѣе страшное, чѣмъ то, съ которымъ только что справились съ такимъ трудомъ. Держать его здѣсь, — подъ какимъ предлогомъ? И волей-неволей, подъ разными предлогами, то отговариваясь текущими дѣлами, то необходимостью собрать новыя справки о возстаніи, министерство оттягивало дѣло въ тайной надеждѣ на какой-нибудь случай, на какую-нибудь неожиданную камбинацію, которая поможетъ ему выйти изъ такого затрудненія. Ожидая запроса въ палатѣ, оно готовилось заявить, что судьбой плѣнника займется лишь послѣ того, какъ возстаніе будетъ усмирено окончательно и конгрессу будетъ предложенъ цѣлый рядъ реформъ съ цѣлью улучшенія положенія индѣйцевъ.

По счастью, въ Вашингтонѣ жилъ мистеръ Смартбой, глава фирмы „Смартбой и К°“, владѣвшій громаднѣйшимъ магазиномъ и складомъ всевозможныхъ товаровъ, занимавшими

цѣлый кварталъ. Ходила остроумная легенда, будто мистеръ Смартбой родился на свѣтъ какъ разъ въ тотъ именно счастливый моментъ, когда геній какого-то почившаго финансиста, блуждая въ эфирѣ, искалъ себѣ на землѣ новаго подходящаго помѣщенія. За ненахожденіемъ ли лучшаго, или таковъ уже былъ его выборъ, только геній несомнѣнно засѣлъ въ коренастую, толстую, но очень юркую фигуру мистера Смартбоя, съ дѣтства уже обращавшаго на себя вниманіе находчивостью и изобрѣтательностью на почвѣ всевозможныхъ операцій, пока, конечно, съ леденцами, пряниками и мелкою карманною мелочью. Впослѣдствіи, выросши, окрѣпнувъ, развившись, онъ, естественно, оставилъ леденцы и пряники въ покоѣ и всю находчивость, всю геніальную изобрѣтательность направилъ на акціи и облигаціи самыхъ остроумныхъ предпріятій. Мистеръ Смартбой строилъ дороги, осушалъ болота, организовывалъ банки, улучшалъ породы скота, наводнялъ штаты самыми громкими, самыми интересными рекламами о своей широкой и плодотворной дѣятельности. И хотя во всякомъ предпріятіи ему непремѣнно всегда мѣшалъ какой-нибудь странный „случай“, вѣчный врагъ финансовыхъ геніевъ, и мистеру Смартбою постоянно приходилось то „прогорать“, то

„вылетать въ трубу“, то объявлять себя банкротомъ, — чудомъ скрытаго генія, онъ не „тонулъ“, а „выплывалъ“ всегда вновь во главѣ какого-нибудь новаго, еще болѣе грандіознаго предпріятія, причемъ туго набитый кошелекъ его все толстѣлъ и толстѣлъ. Правда, разорившіеся акціонеры порою громко роптали, шипѣли злыми инсинуаціями, дарили мистера Смартбоя нелестными эпитетами, но общій голосъ былъ за него, ибо всѣ продолжали вѣрить въ его „звѣзду“, его дѣловитость, изобрѣтательность и всѣ кричали въ унисонъ: „мистеръ Смартбой—геній!“

Это новое его предпріятіе, колоссальный магазинъ, въ которомъ можно было найти все, что производилось мозольными руками всего стараго и новаго міра, — все, отъ нитки до баснословной индійской шали, отъ проволочнаго гвоздя до самой рѣдкой воды бриліанта, давало неслыханные дивиденды, о которыхъ кричали вездѣ и всѣ. Мистеръ Смартбой потиралъ весело руки, считалъ барыши, поднималъ все выше и выше свои акціи до того злополучнаго дня, какъ ненавистный рокъ подарилъ ему конкуррента въ лицѣ новой фирмы „Универсальный Складъ“, открывшей свой магазинъ невдалекѣ и сразу сбившей цѣны. Покупатель, всегда падкій на новинку и дешевизну, сталъ явно измѣнять и дѣла мисте-

ра Смартбоя пошли тише, дивиденды упали, акціи понизились, а въ городѣ стали ходить тревожные слухи, еще сильнѣе подрывавшіе дѣла. Мистрисъ Смартбой поневолѣ должна была прекратить свою широкую филантропическую дѣятельность и ограничить расходы на наряды и выѣзды, о которыхъ когда-то говорилъ весь городъ,—отчего проводила теперь время въ слезахъ, а мистеръ Смартбой перестаетъ, по обыкновенію, потирать руки и ходилъ мрачнѣе ночи. Проклятый конкуррентъ не шелъ ни на какія сдѣлки, отказывался отъ „отступнаго“ и все расширялъ свои операціи.

Но мистеръ Смартбой былъ геній!.. Въ одну безсонную, тревожную ночь на него вдругъ снизошло вдохновеніе. Въ геніальной головѣ мелькнула комбинація, которая, несомнѣнно, спасала его самого, убивала конкуррента и выручала министерство. Къ тому же, она, несомнѣнно, должна была привести въ восторгъ мистрисъ Смартбой, такъ любившую „добрыя дѣла“.

Геніальный человѣкъ вскочилъ съ постели въ волненіи, пылая жаромъ вдохновенія.

— Да, его спасетъ Черный Ястребъ, этотъ грубый и глупый дикарь, предъ которымъ такъ лебезятъ всѣ барыньки и съ которымъ въ министерствѣ не знаютъ что дѣлать! Хе, хе, хе,—все создано Богомъ на потребу умной

и ловкой банкѣ,—пригодится и этотъ краснокожій!... Не знаютъ, что дѣлать съ нимъ? Ну, хорошо же, онъ ихъ научитъ! Да, онъ ихъ научитъ, чертъ возьми!....

ГЛАВА VII.

Въ которой геній совершаетъ доброе дѣло, а истинная и скромная добродѣтель получаетъ свою мзду сторицей.

Мистрисъ Смартбой, какъ всегда въ послѣднее время, вышла къ завтраку съ заплаканными глазами. Добрая, кроткая женщина, она, конечно, не роптала, не пилила своего и безъ того разстроеннаго „милаго Джонни", какъ любятъ это дѣлать другія жены,—она только втихомолку лила вѣчныя слезы. Конечно, мокрые глаза и красныя пятна подъ ними на щекахъ не особенно успокоительно дѣйствовали на супруга, порой они даже раздражали, вызывали его на какую-нибудь рѣзкую вспыльчивую выходку, но что же могла сдѣлать добрая и кроткая женщина, если слезы текли сами, непроизвольно и неудержимо? Она такъ любила благотворительность и всѣ эти пикники въ пользу больныхъ, балы въ пользу увѣч-

ныхъ, аллегри ради голодныхъ и т. д.,—все, въ чемъ она поневолѣ должна была себѣ теперь отказывать,—были ея стихіей. Что могла она сдѣлать, если ее такъ страшно терзали эти насмѣшливые взгляды прежнихъ подругъ и эти ядовитыя соболѣзнованія ихъ по поводу „несчастья въ дѣлахъ“, при видѣ ея необновляемыхъ нарядовъ? Къ тому же, она такъ привыкла вѣрить во всевыручающій геній „милаго Джонни“, который теперь, вдругъ, какъ-то необычно опустился, съ каждымъ днемъ становился только все мрачнѣе, и такъ привыкла уповать на Провидѣніе, сторицей награждающее добрыя дѣла. А она ихъ дѣлала такъ много, такъ много...

И она не ошиблась въ этомъ упованіи и вѣрѣ, добрая, кроткая женщина. Къ ея крайнему изумленію, въ это утро мистеръ Смартбой вышелъ къ завтраку какъ ни въ чемъ не бывало, вновь сіяя обычною улыбкой и потирая руки. Подойдя сзади мелкими, быстрыми шагами, онъ, какъ и раньше, опять громко чмокнулъ ея красивый лобъ.

— О, Джонни!—могла проговорить только отъ избытка взволновавшихъ ее чувствъ мистрисъ Смартбой и сердце ея забилось сладкою надеждой на что-то хорошее.—О, милый Джонни!...

— Что, моя Нэлли, что?—весело спрашивалъ въ отвѣтъ мистеръ Смартбой, ожесточенно потирая руки.—Ну, будетъ намъ лить слезы!... Съ нынѣшняго утра...

Мистриссъ Нэлли, вся вытянувшись и сіяя счастьемъ, раскрыла свой чудный ротикъ.

— Съ нынѣшняго утра, Нэлли,—продолжалъ счастливый супругъ,—все должно измѣниться!... Кстати, вы давно не дѣлали себѣ обновокъ... Можете отправиться сегодня къ модисткѣ...

— Джонни! —ликуя и какъ бы не вѣря, въ то же время, крикнула мистрисъ Смартбой.—Милый Джонни!

Но мистеръ Смартбой не выказалъ еще всей своей доброты. Потирая руки и весело хихикая, онъ продолжалъ:

— Да и благотворительныя дѣла свои, Нэлли, вы немножко запустили... Хорошо бы, знаете, вечеръ съ аллегри или что-нибудь въ этомъ родѣ...

— Можно bal masque, Джонни!..

— Какъ хотите, милая; это ваше дѣло...

Мистриссъ Смартбой ликовала. Высокая грудь ея колыхалась счастьемъ. Но она была кроткою и доброю супругой и потому сочла долгомъ немного опечалиться.

— Вы такъ добры, Джонни! Вы столько дѣлаете для меня, и я вамъ такъ благодар-

на... Но наши дѣла, кажется... наши дѣла, Джонни...

— Наши дѣла? — захихикалъ весело мистеръ Смартбой. — Не печальтесь, Нэлли!... О нашихъ дѣлахъ скоро заговорятъ всѣ штаты!... Да, Нэлли, наши дѣла зацвѣтутъ, какъ ваши щечки!... Сегодня же вы получите одинъ сюрпризъ, который придется по вкусу вашему сострадательному сердцу... сегодня...

— Сюрпризъ? О, еще и сюрпризъ, Джонни?—вся заалѣвъ отъ избытка счастья, томно простонала мистрисъ Нэлли.

— Да, сюрпризъ! Помните, вы такъ хотѣли получить входный билетъ къ этому несчастному узнику...

Благодаря придуманной комбинаціи, мистеръ Смартбой находилъ теперь этого „глупаго дикаря“ — „несчастнымъ“, „страдальцемъ“, „мученикомъ“ и даже готовъ былъ пролить о его печальной судьбѣ и по поводу „возмутительнаго заключенія“ горячія слезы.

— Помните?

Мистрисъ Нэлли вскочила.

— Я получу билетъ? — спросила она, задыхаясь.

— Вы получите больше, чѣмъ билетъ, Нелли!—весело и загадочно отвѣтилъ мистеръ Смартбой.—Гораздо больше!..

— Что же это такое, Джонни?

— Это... это... пока секретъ, Нэлли!... Это очень доброе дѣло, которое приведетъ въ восторгъ ваше сердце, всецѣло отданное добрымъ дѣламъ... За это доброе дѣло, мы, конечно, пожнемъ сторицей!

И немного цинично захихикавъ, довольнымъ, предвидящимъ наживу смѣхомъ „дѣловитаго" человѣка, мистеръ Смартбой кончилъ свой завтракъ.

О, мистрисъ Нэлли никогда не сомнѣвалась, что онъ—геній!

Послѣ завтрака мистеръ Смартбой пошелъ прямо въ министерство. Взволнованною, глубоко прочувствованною рѣчью онъ заговорилъ тамъ о печальной судьбѣ этого несчастнаго индѣйца, который, вопреки всѣмъ традиціямъ и законамъ республики, такъ долго томится въ заключеніи. Конечно, онъ, мистеръ Смартбой, отлично понимаетъ всю затруднительность положенія правительства, онъ понимаетъ, что озлобленнаго вождя нельзя отпустить на свободу безусловно, но съ другой стороны, нельзя не принять во вниманіе, что сердце каждаго истаго „янки" приходитъ въ негодованіе и все общество находится въ возбужденномъ состояніи. Длить все это дольше—невозможно.

Въ министерствѣ къ такимъ рѣчамъ уже привыкли и чиновникъ, морщась слушавшій горячее слово мистера Смартбоя, готовъ былъ

уже прервать этотъ потокъ состраданія обычной оффиціальной фурмулой: „министерство сдѣлаетъ все зависящее... Оно приметъ во вниманіе“ и т. д. Но вдругъ его ухо уловило нѣчто совсѣмъ новое.

— Изъ такого положенія есть, все-таки, выходъ... Я пришелъ предложить... — говорилъ мистеръ Смартбой.

— Выходъ! Вы пришли предложить? — спросилъ чиновникъ, недовѣрчиво косясь на геніальнаго человѣка.—Какой же напримѣръ?

— Я пришелъ предложить отдать его мнѣ на поруки, сэръ. Это лучшее, что можетъ быть при такомъ положеніи.

Да, это былъ лучшій выходъ. Чиновникъ даже раскрылъ ротъ, — такъ ошеломила его эта простота „выхода“. Отдать на поруки! Да. вѣдь, это геніальнѣйшая мысль и никому она не приходила въ голову раньше? Этимъ затыкались всѣ глотки, индѣецъ получалъ свободу, былъ, въ то же время, безопасенъ и вопросъ о его судьбѣ могъ быть совершенно свободно и легально отложенъ до далекаго „благопріятнаго и подходящаго“ случая. Это была положительно геніальная мысль!

Мистеру Смартбою, конечно, жали руки, удивлялись его сердцу и головѣ и предложеніе приняли сразу. Все было готово быстро, —въ министерствѣ не любили мѣшкать.

— Вотъ, мистеръ Смартбой, дорогой мистеръ Смартбой, и бумаги, и декретъ! Предъявите тамъ коменданту... Спасибо, мистеръ Смартбой, право, это геніальнѣйшая мысль и дѣлаетъ большую честь вашему сердцу!

Ликуя, мистеръ Смартбой изъ министерства направился прямо въ контору объявленій. Послѣ непродолжительнаго шушуканья съ управляющимъ онъ заказалъ десять тысячъ громаднѣйшихъ простынь объявленій на самой яркой цвѣтной бумагѣ, которыя завтра чуть свѣтъ контора обязывалась расклеить по всему городу и вездѣ, куда только могъ добраться человѣкъ съ клеемъ и кистью. Изъ конторы онъ пошелъ къ индѣйцу и, предъявивъ декретъ министра объ отдачѣ ему на поруки Чернаго Ястреба, смѣло вошелъ къ нему, ощупывая на ходу захваченный „на всякій случай“ пятиствольный ремингтонъ, способный пробить черепъ буйвола.

— Какъ живешь?—весело крикнулъ мистеръ Смартбой.

Индѣецъ угрюмо сидѣлъ въ своей обычной позѣ и не шевельнулся. Послѣ давишняго разговора съ проповѣдникомъ, которому онъ такъ смѣло отвѣтилъ, съ нимъ, конечно, тянуть не будутъ. Съ часу на часъ ждалъ индѣецъ своей казни, на которую онъ пойдетъ, какъ воинъ, безстрашно и смѣло, со спокой-

ною совѣстью и душой, презирая глубоко враговъ и предстоящую пытку. Что бы они съ нимъ ни дѣлали, имъ не вырвать изъ устъ вождя, конечно, даже самаго слабаго стона.

— Какъ живешь? — повторилъ мистеръ Смартбой и хлопнулъ индѣйца по плечу. — А я пришелъ за тобою!

Тотъ удивленно поднялъ глаза.

За нимъ? Этотъ кругленькій и толстенькій человѣчекъ, похожій на купца?

— Да, продолжалъ мистеръ Смартбой на удивленный взглядъ индѣйца,—за тобою, Черный Ястребъ! Ты осужденъ на казнь, но мы не хотимъ тебя казнить... Мы надѣемся, что, поживя среди бѣлыхъ, узнавъ ихъ лучше, ты перестанешь считать ихъ врагами... Мы милуемъ тебя.,.

Индѣецъ не понималъ, казалось, ничего и не вѣрилъ тому, что слышалъ.

— Правительство отдало тебя мнѣ подъ охрану,—ты будешь жить у меня. Не думай, —спохватился мистеръ Смартбой, когда увидѣлъ, что тѣнь пробѣжала отъ этихъ словъ по лицу узника, — не думай, что ты отданъ въ рабство... Вождь, конечно, не можетъ быть рабомъ. Ты не будешь работать и ничего не увидишь злаго... Я буду тебя холить. ты будешь сытно ѣсть, хорошо спать, ниче-

го не дѣлать и получишь самое роскошное платье и самыя красивыя перья... Курить будешь весь день... Мы хотимъ, чтобы ты получше узналъ насъ и убѣдился, что среди насъ есть много добрыхъ людей. Ну, пойдемъ!

Карета ждала у входа. Ошеломленный, совсѣмъ сбитый съ толку, даже какъ будто оробѣвшій отъ всѣй этой кутермы въ его растерявшейся головѣ, отъ этихъ странныхъ неожиданностей, индѣецъ молча вскарабкался въ нее вмѣстѣ съ мистеромъ Смартбоемъ, на его глазахъ переложившимъ зачѣмъ то свой револьверъ изъ одного кармана въ другой. Когда они оба, ликующій геній и ошеломленный, какъ бы гипнотизированный индѣецъ, вошли въ гостинную и пораженная мистрисъ Нэлли, немного испугавшись, широко раскрыла свои прелестные глазки, нѣжный супругъ, потирая руки, весело сказалъ ей:

— Вотъ, милая Нэлли, и мой сюрпризъ, и мое доброе дѣло! Это Черный Ястребъ. Я взялъ его на поруки и онъ будетъ жить у насъ!

— Джонни,—совсѣмъ задохнулась отъ блаженства мистрисъ Нэлли, предчувствуя, какъ заболѣютъ съ досады и зависти всѣ ея подруги,—милый Джонни, это такое доброе дѣло... такое дѣло...

— И оно, моя крошка дастъ намъ не одинъ милліончикъ! — весело хихикнулъ въ отвѣтъ мистеръ Смартбой, потирая руки. — Наша фирма засіяетъ, какъ твои глазки!

— А конкуррентъ, Джонни?

— Конкуррентъ?... Завтра же онъ ликвидируетъ свои дѣла!

Геніальный мистеръ Смартбой всегда разсчитывалъ вѣрно.

ГЛАВА VIII.

Нѣчто о томъ, какъ истинная добродѣтель побѣждаетъ зло.

На другой день съ утра вся столица запестрѣла саженными афишами самыхъ яркихъ цвѣтовъ, отъ которыхъ невольно рябило въ глазахъ каждаго прохожаго. Афиши покрывали собою дома, стѣны храмовъ, телеграфные столбы, качались на протянутыхъ черезъ улицы проволокахъ, замѣняли собою плащи у спеціально нанятыхъ для того разнощиковъ, медленно шагавшихъ по тротуарамъ. Вездѣ, куда ни направлялся глазъ человѣка, онъ читалъ одно и то же:

„СМАРТБОЙ и К°".

1000 скальповъ

собственноручно снявшій и два раза разбившій на голову регулярныя войска союза, великій вождь краснокожихъ

ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБЪ,

въ великолѣпномъ нарядѣ вождя, во всеоружіи и со всѣми атрибутами своей власти, присутствуетъ ежедневно въ магазинѣ

„СМАРТБОЙ и К°".

МОДНО! ДЕШЕВО! ИЗЯЩНО!



N. B. Только что полученъ громадный выборъ самыхъ модныхъ и изящныхъ товаровъ всего свѣта. Дешевизна небывалая! Роскошь головокружительная. Внѣ конкурренціи!

Естественно, населеніе пришло въ небывалое волненіе,—каждому такъ страстно хотѣлось увидѣть индѣйца! Сначала, правда, это было принято за мистификацію и ловкую рекламу, но утреннія газеты разсѣяли всѣ сомнѣнія. Дѣйствительно, Черный Ястребъ присутствуетъ въ магазинѣ собственной особой. Мистеръ Смартбой,—этотъ замѣчательный дѣлецъ и финансистъ, давно извѣстный всему союзу, — доказалъ, что обладаетъ истинно-добрымъ сердцемъ, что онъ къ тому же, прекрасный гражданинъ, который не ограничивается одними словами и платоническими сожалѣніями, но умѣетъ и реализовать ихъ. Ему одному пришла въ голову эта счастливая комбинація, выручившая несчастнаго узника и давшая возможность правительству снять съ себя обвиненіе въ жестокости и незаконности дѣйствій. Взявъ на поруки Чернаго Ястреба, мистеръ Смартбой, конечно, заслужилъ признательность правительства и всѣхъ добрыхъ гражданъ союза.

И съ самаго утра возбужденное населеніе столицы, горѣвшее страстнымъ любопытствомъ, густою вереницей направлялось къ одному центру—знаменитому магазину мистера Смартбоя, гдѣ отъ толпы совсѣмъ не было ни прохода, ни проѣзда. Четыре улицы, на которыя выходилъ своими фасадами магазинъ, буквально были запружены экипажами и народомъ.

Съ подругами мистрисъ Смартбой дѣйствительно творилось въ это утро недоброе отъ зависти и досады. Прелестная мистрисъ Барнаби за завтракомъ стала горько жаловаться все на тѣ же нервы и мужу, предчувствовавшему истерику, съ болью и тревогой въ сердцѣ пришлось выслушивать законныя сѣтованія на „недогадливость“ политиковъ, погруженныхъ въ обдумываніе своихъ „шаговъ“ и упускающихъ „жареныхъ голубей“ другимъ. Мистрисъ Мэри, благоразумнѣйшая супруга, слегла въ постель отъ мигрени, все усиливавшейся отъ больнаго и обиднаго сознанія, что эта „противная Нэлли Смартбой“ опять „всплываетъ“ и заставитъ говорить только о себѣ, затмивъ всѣхъ спутницъ финансовыхъ планетъ Вашингтона.

— Эти Смартбои опять поднимутся,—горько стонала благоразумная больная.

— Несомнѣнно, дорогая Мэри,—успокоивалъ ее банкиръ.—Но это-то и отлично для насъ... Вы знаете, у меня много его векселей и акцій.

Блѣдное личико мистрисъ Мэри исказилось глубокимъ страданіемъ. Она подняла руки къ блондамъ своего чепчика отъ приступа сильной боли.

— Уходите и не мучьте меня!.. Уходите, сэръ! — стонала благоразумная супруга.—У васъ только ваши векселя и акціи въ головѣ! Уходите и поднимайте ваши акціи!

И бѣдный банкиръ ушелъ, проклиная мигрени и женскую неспособность понимать финансовыя комбинаціи.

Но еще худшее творилось съ конкуррентами самого мистера Смартбоя. Эти афиши, которыя они читали такими изумленными, широко вытаращенными глазами,—эти статьи утреннихъ газетъ, восхвалявшихъ добродѣтель и догадливость ихъ конкуррента,—влили, казалось, въ ихъ сердца какой-то страшный ядъ, отъ котораго, точно отъ долгой желтухи, совсѣмъ пожелтѣли ихъ лица. Въ обширныхъ залахъ „Универсальнаго Склада“, еще вчера набитыхъ биткомъ лихорадочно - торопливыми покупателями и въ особенности покупательницами, шумныхъ и суетливыхъ, царила теперь абсолютная пустота и тишь. Въ громадныхъ зеркалахъ, вмѣсто оживленной толпы, отражались теперь только вялыя и точно сконфуженныя лица прикащиковъ, да желтыя и тревожно-грустныя физіономіи директоровъ-компаньоновъ, безмолвно и сосредоточенно шагавшихъ по пустымъ заламъ, заложивъ руки въ карманы. Богатства магазина оставались на полкахъ, ярко полированныя стойки были пусты.

— Да, онъ сегодня зарѣзалъ насъ сразу!— глухо, сквозь зубы, проговорилъ одинъ изъ директоровъ, сойдясь съ другимъ у большаго зеркальнаго окна.—Съ одного маху!

— Да, — отвѣтилъ другой. — Цѣлый годъ мы понижали, цѣлый годъ вели дѣло въ убытокъ въ надеждѣ на побѣду... Еще немного — и онъ несомнѣнно полетѣлъ бы въ трубу...

— То-то и есть!... И вдругъ!... Кто могъ ожидать?

— Геній! — вздохнулъ въ отвѣтъ другой.

И оба отвернулись, чтобы не видѣть этихъ проклятыхъ афишъ генія, прямо стрѣлявшихъ въ окно своими громадными буквами.

— Придется ликвидировать? — вздохнулъ первый. — Впрочемъ, можетъ быть, мистеръ Бигпокетъ...

Онъ не договорилъ, потому что въ этотъ моментъ на порогѣ показался глава фирмы, самъ мистеръ Бигпокетъ своею длинною особой. Всѣ директора бросились къ нему, но, взглянувъ въ его сухое, бритое, тоже совсѣмъ пожелтѣвшее лицо, безмолвно остановились. Флегматичный, молчаливый мистеръ Бигпокетъ стеклянным взглядомъ обводилъ всѣ полки магазина и беззвучно двигалъ, точно жуя, своими безцвѣтными, сухими губами.

Это былъ плохой знакъ.

А самъ мистеръ Смартбой въ страстномъ волненіи лихорадочно бѣгалъ у себя изъ угла въ уголъ. Пока все шло какъ по маслу и генеральное сраженіе, которое должно было рѣшить участь всей фирмы, явно клонилось на

его сторону. Еще утромъ ему дали знать, что наличныхъ силъ клерковъ въ его магазинѣ не хватитъ, что необходимо подкрѣпленіе. Точно главнокомандующій на полѣ битвы, онъ отрядилъ запасныхъ, о которыхъ предусмотрительно позаботился еще наканунѣ, и приказалъ прииянять за какую удодно цѣну новый запасъ, на всякій случай, если и посланныхъ уже подкрѣпленій окажется недостаточно. Послѣ того онъ забѣгалъ еще лихорадочнѣе, сильнѣе прежняго потирая руки, то и дѣло подбѣгая къ окну взглянуть на свои афиши и запрудившую улицы толпу. Передъ завтракомъ ему прислали сказать. что если дѣла будутъ идти такъ и дальше то къ вечеру нѣкоторыхъ товаровъ не хватитъ. Мистеръ Смартбой ликовалъ, но на душѣ у него, все-таки, скребли кошки.

Дѣло было въ томъ, что онъ никакъ не могъ еще рѣшить, что думаютъ и какъ смотрятъ на вещи въ „Универсальномъ Складѣ“ его конкурренты, а это значило много. Тамъ сидѣли, конечно, не „пустыя головы“ и то или иное ихъ отношеніе лучше всего характеризовали бы дѣйствительное значеніе его побѣды. Эта побѣда могла имѣть только временное значеніе и могла быть настолько полной, что противнику не оставалось бы ничего больше, какъ покорно сложить оружіе и про-

сить пощады. Ловкіе люди, они сразу сообразятъ, могутъ ли они конкуррировать дальше, могутъ ли чѣмъ-нибудь вновь перетянуть къ себѣ „публику“, или дѣло ихъ проиграно вполнѣ и тогда они, конечно, не будутъ „затягивать“, точно какіе-нибудь профаны, а постараются покончить все сразу и быстро... Не даромъ этотъ Бигпокетъ чертовски смышленая башка! Онъ зналъ, что ни одинъ покупатель не зашелъ къ нимъ сегодня, не зайдетъ и завтра,—но дальше-то? Какъ они думаютъ?

Онъ бѣгалъ, волновался, ждалъ, но оттуда не было еще ни гласа, ни послушанія. Тянутъ ли они тамъ, совѣщаются ли, или колеблются? О, ловкій плутъ этотъ длинный, молчаливый сухарь! Мистеръ Смартбой сѣлъ завтракать одинъ, потому что экспансивная мистрисъ Нэлли поѣхала уже торжествовать побѣду къ подругамъ. Онъ ѣлъ быстро, торопливо, все ожидая, все прислушиваясь, но никто не являлся. Найдя, что такъ волноваться нельзя, онъ для успокоенія выпилъ рюмку портвейна и взялъ уже въ руку зубочистку, какъ ему неожиданно доложили, что прибылъ самъ мистеръ Бигпокетъ.

— Просить!—вскочилъ мистеръ Смартбой, сразу успокоенный. Волненіе его какъ рукою сняло. Съ салфеткой за жилетомъ, съ зубочисткой въ рукѣ стоялъ уже совсѣмъ другой че-

ловѣкъ, спокойный, флегматичный, съ какимъ-то безжизненнымъ, почти соннымъ взглядомъ.

И два великана, два солнца финансоваго міра, два ожесточенныхъ врага, стояли лицомъ къ лицу. Одинъ — желтый, сухой, длинный, безмолвно, точно жуя, шевелилъ губами, другой — коренастый, толстый, цвѣтущій, молча ковырялъ во рту зубочисткой.

— Ловкое дѣло!—глухо, точно съ усиліемъ выговорилъ, наконецъ, гость и вновь зашевелилъ губами.

— Н-да?—не то спросилъ, не то подтвердилъ полусонный хозяинъ.—Во всякомъ случаѣ, дорогой мистеръ Бигнокетъ, — доброе дѣло... Жаль мнѣ было этого наивнаго дикаря... Къ тому же, знаете, мистрисъ Смартбой такъ предана благотворенію,—и онъ вновь заковырялъ въ зубахъ.

Молчаливый гость только пожевалъ въ отвѣтъ и шевельнулъ бровями, какъ будто ничего не разслышалъ.

— Мы согласны на отступное, сэръ, — такъ же глухо и съ такимъ же усиліемъ проговорилъ онъ вновь, послѣ минутной паузы.

Часы мѣрно стучали. Мистеръ Смартбой, продолжая ковырять зубочисткой, кивнулъ слегка сонною головой и отвѣтилъ самымъ дружескимъ тономъ:

— Ни цента, дорогой мистеръ Бигнокетъ!

Желтое лицо гостя какъ будто еще больше пожелтѣло. Время шло, маятникъ мѣрно качался, мистеръ Смартбой ожесточенно ковырялъ зубочисткой, а тотъ, попрежнему, все только жевалъ и жевалъ.

— Хорошо! Мы ликвидируемъ!—тѣмъ же тономъ произнесъ онъ послѣ обоюднаго молчанія, вскинувъ, наконецъ, своими точно ничего невидящими, стеклянными глазами.

Зубочистка остановилась.

— Пятьдесятъ за сто, сэръ! Завтра не дамъ и этого...

Мистеръ Смартбой бросилъ это точно вскользь, прежнимъ дружескимъ тономъ. Гость очень долго жевалъ.

— Хорошо! — проговорилъ онъ, наконецъ.—Мы согласны!

Великаны взглянули другъ другу въ глаза,—дѣло было слажено. И, сразу измѣнивъ тонъ, придя въ другое настроеніе, точно совсѣмъ преобразившись, оба, и гость, и хозяинъ, повели рѣчь дальше.

Побѣда была полная.

А въ это время въ магазинѣ шла давка, начавшаяся съ самаго утра и все возроставшая до того, что людямъ совсѣмъ почти нельзя было двигаться. Въ обширныхъ, роскошныхъ залахъ, заваленныхъ грудами разбросаннаго товара, занятаго сплошною почти массой чело-

вѣческихъ тѣлъ, стоялъ глухой, неясный гулъ множества голосовъ, хорошо слышный сквозь открытыя окна и двери далеко на улицѣ, гдѣ тоже шла давка и тоже стоялъ содомъ. Было жарко, душно. Несмотря на постоянную пульверизацію, на пущенные зальные фонтаны, на сквознякъ вездѣ открытыхъ оконъ и дверей, въ воздухѣ тучею носилась пыль по заламъ всѣхъ четырехъ этажей. Подъемныя машины работали неустанно, клерки выбивались изъ силъ, разворачивая и отмѣривая товаръ, который затѣмъ не убирался, а прямо кидался за недостаткомъ времени въ общія кучи, безчисленныя кассы не успѣвали принимать деньги и давать сдачу... А толпа все росла и росла.

Гуще всего была она въ залахъ бель-этажа, спеціально занятаго предметами дамскихъ нарядовъ, послѣдними сезонными новинками и ювелирными вещами. Тамъ она, конечно, состояла, главнымъ образомъ, изъ женщинъ, и бѣднымъ клеркамъ здѣсь была уже чистая каторга... Но въ главномъ залѣ этого этажа, въ громадномъ залѣ чистаго бѣлаго мрамора, убранномъ одними зеркалами въ серебряныхъ рамахъ. въ простѣнкахъ между которыми стояли мраморныя вазы съ роскошными гигантскими букетами изъ бѣлыхъ розъ, тамъ шелъ цѣлый адъ. Сквозь общій, неясный гулъ тамъ то и дѣло ясно выдѣлялось одно слово: онъ, онъ, онъ!...

Да, тамъ находился онъ, великій вождь, „несчастный узникъ, милосердно освобожденный этимъ милымъ мистеромъ Смартбоемъ“. На высокомъ золотомъ креслѣ, похожемъ на тронъ, съ вычурнымъ балдахиномъ изъ какой-то рѣдкой индійской кисеи, сидѣлъ индѣецъ въ ярко-красномъ, пурпуровомъ одѣялѣ, какого не видало никогда ни одно око его красновожихъ братьевъ. Дорогія страусовыя перья, какихъ не носилъ еще ни разу ни одинъ вождь всѣхъ племенъ, высоко колыхались на его головѣ бѣлоснѣжною тучей, ниспадая красивыми каскадами и фестонами, развѣваясь во всѣ стороны. Бляхи въ его волосахъ сверкали червоннымъ золотомъ, у ногъ его, обутыхъ въ мокасины самой тонкой работы, лежалъ золоченый лукъ, правда, совсѣмъ негодный, какъ оружіе, и великолѣпный, хотя, на самомъ дѣлѣ, картонный, золоченый же томагаукъ. Отъ богатаго пояса ниспадала цѣлая цѣпь картонныхъ скальповъ, съ сѣдыми волосами стариковъ, кудрями дѣтей, длинными, роскошными прядями женщинъ, безусловно похожихъ на настоящіе скальпы,—чудо искусства француза-парикмахера... Тѣснившаяся кругомъ женская толпа жадно смотрѣла на него полуиспуганными, полуудивленными, но возбужденными, горѣвшими страстнымъ и лихорадочнымъ любопытствомъ глазами.

— Ахъ, какъ онъ страшенъ!—то и дѣло, полузадыхаясь, шептали прелестныя миссъ и мистрисъ, но все тѣснѣе окружали индѣйца плотнымъ кругомъ. Въ этомъ страхѣ было что то чарующее, влекущее, возбуждающее.

— Не бойтесь‘ не бойтесь, онъ безопасенъ,—успокаивали боязливыхъ клерки.—Мы тутъ, сударыни... Онъ не сдѣлаетъ зла...

— Говорятъ, его очень обижали... Онъ не любитъ всѣхъ бѣлыхъ, всѣхъ насъ...

— Сомнительно—шутили ловкіе клерки. —Сомнительно, сударыня. А, впрочемъ, спросимъ его.

И, хлопая индѣйца по плечу, они спрашивали его шутливо:

— Ну, что, Черный Ястребъ, нравятся тебѣ бѣлыя „скво“?

Но тотъ молчалъ.

Да и что могъ бы онъ отвѣтить, когда онъ самъ теперь ничего не понималъ и не зналъ? Этотъ залъ, котораго не знаютъ даже самые яркіе и блестящіе сны, этотъ нарядъ, пріятно поражающій его самого своимъ великолѣпіемъ, какого не знали никогда даже дѣды, эти свѣтлыя зеркала, въ которыхъ онъ видитъ себя такимъ величественнымъ въ этихъ чудныхъ перьяхъ и бляхахъ, эта громадная, тѣсная толпа, не сводящая съ него взоровъ, —все это безусловно ошеломляло и подавля-

ло индѣйца. Все это походило на какую то фантастическую сказку изъ индѣйскихъ легендъ о бродячихъ тѣняхъ. Онъ не отвѣтилъ бы себѣ теперь на вопросъ, онъ ли это дѣйствительно сидитъ и отражается кругомъ, или его тѣнь... Можетъ быть, все это ловкая тактика бѣлыхъ, чтобы смутить его и соблазнить своимъ богатствомъ, очень можетъ быть, но ошеломленный, подавленный, онъ какъ то совсѣмъ не могъ объ этомъ думать. Приложи онъ даже руку къ самому сердцу, онъ не сказалъ бы, чѣмъ оно бьется... Положительно околдовалъ его со вчерашняго дня этотъ юркій, толстенькій чародѣй, съ виду такъ похожій на простаго купца!

ГЛАВА IX.

Сила волшебной чары и хорошаго корма.

Время летѣло незамѣтно и неудержимо, такъ же незамѣтно и неудержимо копились милліоны мистера Смартбоя, такъ же роста и росла сила чары, овладѣвшей индѣйцемъ.

Да, онъ несомнѣнно былъ очарованъ,— онъ такъ вѣрилъ въ силу колдовства. На почвѣ такой вѣры явилось это представленіе,

а разъ оно явилось, оно не могло не рости, все развиваясь, переходя постепенно въ самое незыблемое убѣжденіе. Какъ всѣ его братья, онъ былъ слишкомъ суевѣренъ и мнителенъ, —этотъ наивный сынъ дикой степи. Современные психіатры хорошо знаютъ силу такой мнительности, знаютъ, какъ сильно отражается зародившееся въ человѣкѣ сомнѣніе или представленіе на всей его духовной и физической природѣ. Гигантъ, какъ извѣстно, бываетъ безсиленъ поднять дѣтскую игрушку, полный силъ, цвѣтущій юноша можетъ чувствоватъ себя дряхлымъ старикомъ. И безстрашный, гордый вождь чувствовалъ, что онъ какъ бы совсѣмъ потерялъ свою волю, что, околдованный разъ, онъ находится въ полной власти этого толстенькаго чародѣя, веселаго и юркаго, съ безцвѣтными, смѣющимися глазками, въ которыхъ, однако, сверкалъ какой то леденящій, мертвый холодъ. Герой, во время жестокаго боя смѣло подставлявшій закаленную, безстрашную грудь подъ вражескія пули, одинъ способный противустоять цѣлой толпѣ нападавшихъ, способный умереть какъ никто, безъ стона подъ самою лютою пыткой, онъ даже какъ то наивно робѣлъ при видѣ этой маленькой фигурки, этого неустаннаго потиранія рукъ, этого холоднаго хихиканья, этихъ безцвѣт-

ныхъ глазъ. Да, робѣлъ... Такъ порою взрослый и сильный человѣкъ робѣетъ и дрожитъ при видѣ крошечнаго мышенка.

Конечно, еслибъ онъ могъ спросить себя, что онъ чувствовалъ къ своему чародѣю, онъ несомнѣнно отвѣтилъ бы, что въ глубинѣ души ненавидитъ его, и, можетъ быть, неизмѣримо страстнѣе, чѣмъ всѣхъ его братьевъ. Но онъ и не могъ себя спросить, казалось, ибо совсѣмъ какъ то не могъ думать въ этомъ направленіи. Ошеломленный, подавленный однимъ представленіемъ, мозгъ зналъ и говорилъ лишь одно, о власти чародѣя, и какъ будто совсѣмъ не хотѣлъ и не могъ знать ничего другаго. Это, конечно, было тоже дѣломъ чары· И, пожалуй, не будь ея, этой чары, положеніе мистера Смартбоя могло стать не совсѣмъ безопаснымъ,.. Развѣ не разрываетъ проснувшійся въ своей желѣзной клѣткѣ хоть на мигъ и вспомнившій о былой силѣ и воли африканскій левъ своего чародѣя-укротителя?

Время шло и сила чары все росла. Индѣецъ сталъ даже какъ-то странно волноваться, точно птица, замѣтившая хищную кошку, лишь только его слухъ уловлялъ дребезжаніе этого волшебнаго хихиканья, мелкіе, быстрые шажки, звукъ довольнаго потиранія руками. Приставленные къ нему клерки, дав-

но узнавшіе и это подозрѣніе, и эту боязнь, всѣми мѣрами, конечно, старались поддержать ихъ въ индѣйцѣ, и скоро мистеръ Смартбой не имѣлъ другой клички, какъ „чародѣй и волшебникъ“. Порою, отъ скуки, они забавлялись этимъ смѣшнымъ для нихъ страхомъ и, проказничая, предупреждали другъ друга о мнимомъ приближеніи чародѣя. Ихъ тѣшила эта тревога, немедленно охватывавшая молча и безстрастно курившаго дикаря... Ге!—этотъ дикарь,—онъ только сладко спитъ, сладко ѣстъ, когда они работаютъ до изнеможенія! Пусть же поволнуется... И, напуская на себя испуганный, встревоженный видъ, они громкимъ, полнымъ ужаса, казалось, шепотомъ передавали другъ другу: „кажется, идетъ колдунъ! кажется, колдунъ!,..“

Могла ли не рости эта чара?

И мало-по-малу грозный вождь, казалось, совсѣмъ свыкся съ своимъ положеніемъ. Изо дня въ день просиживалъ онъ на своемъ тронѣ среди этой, часто-несмѣтной, любопытной толпы, въ своихъ перьяхъ и бляхахъ, въ своемъ яркомъ одѣялѣ, съ этими картонными скальпами, съ этимъ дѣтскимъ оружіемъ у ногъ. Съ каждымъ днемъ становился онъ безстрастнѣе, спокойнѣе и, свыкаясь съ своею странною ролью, все меньше и меньше напрягалъ свой ошеломленный мозгъ, чтобы понять

эту странную правду, похожую на сказку. Конечно, тутъ много значилъ и другой факторъ. Эта мягкая перина его ложа, этотъ блескъ его наряда, роскошная сытная пища, вѣчно покойное сидѣнье, отсутствіе заботъ,— все это вмѣстѣ, составляющее самый завѣтный идеалъ каждаго охотника-номада, тѣсно связанный съ представленіемъ о блаженствѣ храбрыхъ въ „царствѣ тѣней“,—они тоже неотразимо и незамѣтно, шагъ за шагомъ, дѣлали свое дѣло. Мало-по-малу они ослабили эти нѣкогда стальные мускулы поджараго, худаго тѣла, теперь полнаго жиромъ, налили, округлили эти нѣкогда угловато-красивыя черты энергическаго лица, притупили мысль и волю, пріучили индѣйца любить и цѣнить это сытое, беззаботное блаженство. Правда, все это блаженство давали ему враги и, можетъ быть, съ какою-нибудь хитрою цѣлью, но не все ли это равно,—все чаще и чаще говорилъ ему какой-то внутренній, доселѣ незнакомый голосъ,—не все ли равно, если онъ не идетъ на вражескіе соблазны, не пойдетъ никогда, никогда не предастъ своихъ братьевъ, когда бы у него потребовали этого прямо? Конечно, онъ, попрежнему, ненавидѣлъ враговъ, этихъ „блѣднолицыхъ собакъ“, попрежнему, любилъ „своихъ“ и былъ имъ преданъ. Будь эти „свои“ здѣсь,—о, онъ, конечно, былъ

бы съ ними, въ ихъ рядахъ, и впереди, какъ „вождь“. Но эти „свои“ были далеко, за тысячи миль,—такъ далеко, что и птица не долетитъ туда скоро, — о нихъ не было ни слуха; пища была такъ хороша, нарядъ такъ красивъ и мистеръ Смартбой, этотъ колдунъ, такъ близко...

И все замѣтнѣе полнѣлъ индѣецъ, все круглѣе становилось его лицо, все больше слабѣли его мышцы, все дороже становился ему комфортъ. Незамѣтно и тихо угасала мысль и воля человѣка, незамѣтно и тихо таялъ въ индѣйцѣ „великій вождь“....

А мистеръ Смартбой, этотъ колдунъ и геній, конечно, все крѣпче потиралъ свои руки. Милліоны росли, слава о добродѣтели укрѣплялась, филинтропія и наряды красивой жены заставляли невольно говорить всѣхъ... Этотъ дикарь, чортъ возьми, дѣйствительно принесъ ему счастье и, правду сказать, такіе дураки создаются Богомъ, конечно, только для того, чтобы служить на пользу сметливой головѣ. И не лучше ли, что онъ будетъ жирѣть на своемъ тронѣ, служа живою рекламой, чѣмъ поднимать мятежи и сдирать съ головъ скальпы? Конечно, лучше, и мистеръ Смартбой вполнѣ сознаетъ, что, пустивъ съ его помощью „въ трубу“ конкуррента, округливъ свои суммы, онъ сдѣлалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйстви-

тельно доброе дѣло. До него всѣмъ приходилось только трепетать передъ этимъ дикаремъ, а теперь онъ сталъ смирнѣе ягненка. Развѣ, это не дѣйствительная заслуга? пхе!..

Но слава мистера Смартбоя и торжество его супруги поднялись до апогея въ то прелестное утро, когда, воспользовавшись своимъ, хорошо ему извѣстнымъ вліяніемъ на индѣйца, онъ заставилъ его сѣсть на козлы экипажа и, такимъ образомъ, прокатился съ визитами по столицѣ. Правда, въ карманѣ его брюкъ на всякій случай былъ запрятанъ пятиствольный ремингтонъ, но предметъ общаго любопытства, этотъ Черный Ястребъ, „великій вождь“, гордый и безстрашный воинъ, все-таки, сидѣлъ на козлахъ въ своей красной тогѣ, въ своихъ чудныхъ перьяхъ. Мистеръ Смартбой глядѣлъ тріумфаторомъ; его жена задыхалась отъ счастья, зная, какъ страдаютъ ея завистливыя подруги... И оба, конечно, понимали, что предполагавшаяся кандидатура мистера Смартбоя на открывшуюся ваканцію въ муниципальномъ совѣтѣ получаетъ съ этого утра небывалые шансы. Не чувствовалъ, казалось, не понималъ ничего одинъ индѣецъ. Не все ли ему равно, куда посадитъ его колдунъ, — на золоченый тронъ или на козлы? Онъ сидѣлъ неподвижно, въ полной апатіи, ни на что не глядя и точно ничего не видя

вокругъ отъ какой-то сосредоточенной, казалось, думы. Но была ли это дума или дрема,—онъ и самъ бы не отвѣтилъ.

— Ахъ, смотрите! Смартбои ѣдутъ съ индѣйцемъ!—такъ кричали всѣ встрѣчные, пораженные невиданною картиной, объ этомъ только и говорили весь день и вездѣ.

Правда, были и завистливыя глотки. Были люди, которые находили, что индѣецъ врядъ ли выигралъ, сидя приманкой на своемъ тронѣ или на козлахъ экипажа. Слышались рѣчи, въ которыхъ говорилось что-то о достоинствѣ свободнаго человѣка, о чести вождя.

Но, само собой разумѣется, это завистливое шипѣніе тонуло въ морѣ общихъ восторговъ и не могло имѣть никакого вліянія на исходъ предстоявшихъ выборовъ въ муниципальный совѣтъ. Нѣтъ, этотъ добрый, умный человѣкъ стоялъ выше всякой клеветы!

А выборы приближались. Мистеръ Смартбой предполагалъ устроить для своихъ сторонниковъ „хорошенькій вечерокъ", но мистрисъ Смартбой, больше его понимавшая въ этихъ дѣлахъ, остановилась на пикникѣ, и, конечно, настояла на своемъ. Хорошенькій пикникъ далеко за городомъ, на чистомъ воздухѣ, среди скалъ и ущелій, гдѣ такъ хороши виды, съ музыкой, съ танцами на лужайкахъ,—это по-

нравится всѣмъ. Къ тому же, пикниковъ давно не устраивалось.

— Только, милый Джонни, мы возьмемъ съ собою и индѣйца, — томно взволновалась мистрисъ Нэлли, пріятно налегая на сильное плечо супруга.

— Индѣйца? Это идея, моя милая Нэлли! —весело отвѣтилъ мистеръ Смартбой, трепля ея розовую щечку. —Право, идея! Непремѣнно возьмемъ, пусть-ка онъ разложитъ намъ костеръ по индѣйски! Хе, хе, хе!...

И мистрисъ Нэлли опять задохнулась, предчувствуя, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ пикникъ на всѣхъ ея подругъ.

ГЛАВА X.

Какъ опасна излишняя самоувѣренность и до чего доводитъ иногда игра съ томагаукомъ.

Кругомъ опять царила золотая весна.

Красивыя окрестности Вашингтона утопали въ роскошной и яркой зелени, еще пахучей, еще не истомленной зноемъ, не занесенной пылью. Воздухъ былъ мягокъ и нѣженъ, небо сверкало своей чистою, глубокою лазурью.

Всѣмъ было хорошо, все ликовало и сіяло радостью,—и люди и, природа...

День клонился къ вечеру, солнце спустилось уже низко, спряталось за вѣтви развѣсистыхъ великановъ лѣса и посылало оттуда, прорывавшіеся сквозь чащу, яркіе косые лучи золотаго свѣта. Ущелья темнѣли. Внизу подъ обрывомъ, въ зіявшей, какъ пропасть, глубокой долинѣ, уже поднимались и клубились нѣжныя волны вечерняго тумана, фантастическія, такъ похожія на легкія тѣни плывущихъ привидѣній.

Пикникъ, устроенный мистеромъ Смартбоемъ, былъ въ самомъ разгарѣ. Дорогія вина, веселые танцы на этомъ чудномъ, живительномъ воздухѣ, веселыя рѣчи и шутки, звуки очаровательной музыки развеселили всѣхъ. У всѣхъ горѣли щеки, сверкали глаза, всѣ любили „этихъ милыхъ Смартбоевъ“ и чувствовали къ нимъ особенную нѣжность. Подруги мистрисъ Нэлли даже забыли свою зависть.

Одинъ индѣецъ въ своей тогѣ и перьяхъ сидѣлъ у своего костра, разложеннаго „по-индѣйски“, неподвижно, съ виду не то мрачный, не то апатичный... Давно, о, давно не видали его очи того, что теперь открывалось ихъ взору!... На золотомъ своемъ тронѣ, куда пригвоздилъ его этотъ ненавистный колдунъ, онъ совсѣмъ, казалось, забылъ и широкій про-

сторъ зеленаго луга, и тѣнь дремучаго лѣса, и дикую красоту скалъ и ущелій; его ухо отвыкло отъ шума вольно бѣгущаго потока. Его отвыкшій глазъ сначала, казалось, не хотѣлъ даже вѣрить этой безбрежной, голубой дали, сливавшагося съ небомъ, горизонта. Но теперь онъ видѣлъ—и вспомнилъ... все вспомнилъ! Коснувшись благодатнаго материнскаго лона, проснулся и ожилъ вольный сынъ матери природы и грудь его трепетала неизъяснимымъ счастьемъ, охваченнымъ какою-то неясною тихою грустью, и невидимые, внутренніе очи его тихо рыдали отъ этого счастья. Въ самое сердце текли эти невидимыя слезы, горячія, какъ пламя, и тамъ, въ этомъ закаленномъ, гордомъ сердцѣ, вскипала отъ нихъ дремавшая злоба къ врагамъ, оторвавшимъ отъ матери сына... А эта мать все дышала своимъ свѣтлымъ просвѣтомъ, все нѣжнѣе охватывала дикаго сына неотразимою чарой ласки! Цѣлая цѣпь видѣній, грезъ, забытыхъ картинъ протянулась предъ духовнымъ окомъ неподвижно сидѣвшаго вождя. Дымъ отъ костра въ спокойномъ, недвижимомъ воздухѣ поднимался тонкою, стройною колонной, все расширявшейся кверху, и гдѣ-то безслѣдно тонулъ въ ясной лазури. Этотъ дымный столбъ говорилъ ему очень много. Тамъ гдѣ-то далеко, далеко... у Скалистыхъ горъ, въ зеленой преріи,

поднимались теперь, въ этотъ часъ, сотни, тысячи такихъ дымныхъ столбовъ и сидятъ у костра не одинъ, а много краснокожихъ... Только нѣтъ у этихъ костровъ „бѣлыхъ“, нѣтъ всего того, что окружаетъ его такимъ своеобразнымъ шумомъ и гамомъ, роскошью и блескомъ. Вся роскошь тамъ—высокая упругая и нѣжная, какъ шелкъ, зеленая трава, весь блескъ—одни косые лучи золотаго солнца, да пылающіе пламенемъ островерхія пики горъ, уходящихъ въ самое небо.

Внизу, подъ обрывомъ, клубились волны тумана. Онѣ тоже много говорили этому, казалось, дремавшему сердцу. Да, такъ клубятся волны вечерняго тумана у ручьевъ въ глубокихъ долинахъ волнистаго Канзаса. Онѣ тоже принимаютъ тамъ, клубясь и поднимаясь выше, такія же фантастическія очертанія, похожія на чьи-то тѣни, и вольныя дѣти прерій говорятъ, что это души погибшихъ воиновъ. У ручьевъ, при невидимыхъ для смертнаго кострахъ, великія тѣни героевъ ведутъ свои бесѣды и курятъ свою неугасимую трубку.

Дремалъ ли, или не дремалъ индѣецъ, но ему казалось, что онъ уносится куда-то далеко... далеко... Его брови сдвигались... голова опускалась все ниже... онъ не слышалъ веселья „блѣднолицыхъ“.

— Чего онъ сидитъ такой вялый!—крикнула, вдругъ, полная веселья и счастья красивая мистрисъ Бэтси, совсѣмъ забывшая свои нервы, взглянувъ на неподвижную фигуру индѣйца. — Мистеръ Смартбой, смотрите, онъ совсѣмъ спитъ!... Дайте-ка ему вина!

— Вина? Ба, это идея, хе, хе, хе!—весело отвѣтилъ мистеръ Смартбой.—Эй, дайте сюда шампанскаго! онъ, кстати, его никогда не пробовалъ!

— Вы не боитесь опьянить его? — такъ себѣ, сама не зная для чего, спросила томная мистрисъ Мэри, пока веселый хозяинъ наливалъ стаканъ виномъ.

— Это въ самомъ дѣлѣ немножко рискованно,—вмѣшался блестящій адвокатъ, страстный поклонникъ мистрисъ Мэри.—Мнѣ разсказывали, что самые мирные краснокожіе дѣлаются очень опасными, когда опьянѣютъ... Если онъ никогда не пилъ, то это рискованно...

Не боится ли онъ? Рискованно! Пхе!—и мистеръ Смартбой захихикалъ въ отвѣтъ. Онъ знаетъ свою силу, пустяки! Къ тому же, на всякій случай, у него есть и хорошая штучка въ карманѣ. Хе, хе, хе! Онъ совсѣмъ покорилъ этого тигра!...

— Эй, Черный Ястребъ, хочешь?

Индѣецъ оторвался отъ своихъ грезъ и видѣній и поднялъ глаза. Весь сіяя улыбкой, колдунъ протягивалъ ему полный, игравшій и пѣнившійся стаканъ.

— Хочешь? Пей!

Да, его губы спеклись, его пылавшее горло, казалось, совсѣмъ пересохло. Всѣ глаза смотрѣли въ упоръ на индѣйца, пока онъ пилъ эту чудную влагу „бѣлыхъ“, сладкую и острую, въ то же время, пріятно щекотавшую нёбо... О, эти хитрые бѣлые! какъ много они знаютъ, чего не знаетъ никто, какія есть у нихъ хорошія и вкусныя вещи! Славная вода!

— Хорошо?—также сіяя, спросилъ его колдунъ, принимая порожній стаканъ.—Хочешь еще?

Кругомъ запротестовали.

— Слишкомъ много! Довольно! Вѣдь, онъ никогда не пилъ!—но мистеръ Смартбой вновь поднялъ презрительно плечи и захихикалъ.— Ихе! Пустяки,—онъ знаетъ что дѣлаетъ!

— На, пей еще!—весело крикнулъ онъ и налилъ индѣйцу новый стаканъ.—Такъ, молодецъ! Ловко! Садись теперь!—и дружески хлопнулъ его по плечу, когда тотъ выпилъ.

Индѣецъ сѣлъ къ своему костру. Веселье продолжалось, музыка играла, всѣ становились еще довольнѣе и счастливѣе. Прелестныя пары кружились въ вальсѣ, забывъ не только ин-

дѣйца, но и все, казалось, на свѣтѣ. Да и стоило ли о чемъ-нибудь думать или помнить въ такой веселый, прелестный часъ? Всѣмъ хотѣлось только еще больше шума, веселья и, если можно, еще больше самозабвенія.

А вождь сидѣлъ у костра и чувствовалъ ясно, что съ нимъ творится какое-то новое чудо. Были-ли то чары этой выпитой имъ сладкой воды „бѣлыхъ", или такъ повліяли на него его видѣнія и грезы, только онъ сознавалъ, что становится, вдругъ, какъ-то инымъ, совсѣмъ не прежнимъ. Онъ сталъ легче,—до того, казалось, легче, что могъ бы носиться въ воздухѣ, точно у него выросли крылья, какъ у птицы. Грудь его начинала дышать полнѣе и чаще, сердце забилось скорѣе, онъ сталъ бодрымъ и сильнымъ, точно крови и силы прибавилось ему отъ этой странной, шипѣвшей воды. И все кругомъ измѣнялось... Онъ не видитъ уже этихъ „бѣлыхъ собакъ", не видитъ колдуна. Этотъ гамъ и шумъ, казалось, чѣмъ-то роднымъ и близкимъ,—можетъ быть, до сихъ поръ забытымъ только,—щекочетъ его проснувшійся слухъ. Да, это шумъ и говоръ его родныхъ селеній!... Вонъ, у лѣса, въ глубоко-зіяющей долинѣ, внизу стоятъ ихъ „вигвамы", родные „вигмамы",—онъ ихъ видитъ вдругъ прозрѣвшими очами. Это ихъ костеръ,—нѣтъ, не одинъ... два,

три... сотни костровъ горятъ и дымятся!.. Вонъ туманятся, клубясь, ручьи зеленой преріи внизу, подъ обрывомъ и въ этомъ туманѣ плывутъ великія тѣни почившихъ героевъ... Онѣ манятъ, зовутъ его, великаго вождя, такъ смѣло водившаго краснокожихъ братьевъ къ побѣдамъ... Да, онъ опять вождь!... Онъ не рабъ, не игрушка для вражескаго любопытства, не измѣнникъ, забывшій своихъ за удобствами и нѣгой, онъ никому не продался!... Нѣтъ, онъ все тотъ же вождь, непреклонный и гордый,—онъ только спалъ до сихъ поръ, спалъ какимъ-то страннымъ, очарованнымъ сномъ! Его ожившее ухо ясно слышитъ—тысячегрудый призывъ его братьевъ! Къ нимъ-же, туда—къ этимъ „вигвамамъ", къ этимъ великимъ тѣнямъ!... Къ нимъ, къ нимъ... туда!...

И самъ собою вырвался внезапно изъ его ожившей груди этотъ гортанный боевой кличъ вождя, и звонко прорѣзалъ общій гамъ ликованья. Такъ кричитъ въ голубомъ эфирѣ одинокій журавль, когда увидитъ издали родную стаю... И точно привѣтъ этой стаи, отвѣтило вождю многоголосое эхо дремавшихъ скалъ, ущелій и лѣса... Всѣ гости пикника невольно вздрогнули и остановились.

— Что это съ нимъ? Онъ, попрежнему, сидитъ?... Онъ, кажется, совсѣмъ опьянѣлъ?

— Ахъ, это онъ запѣлъ, вѣроятно... Мистеръ Смартбой, прикажите ему, въ самомъ дѣлѣ, спѣть индѣйскую пѣсню!—опомнилась первая мистрисъ Бэтси.—Право, сэръ, прикажите!... Это очень интересно...

— Да, въ самомъ дѣлѣ, прикажите ему спѣть!... Онъ, кажется, совсѣмъ уже того!—подхватили, смѣясь, гости.

— Это идея!... Черный Ястребъ, спой-ка намъ, братъ, свою пѣсню!—небрежно, но властно кинулъ ему мистеръ Смартбой.

Индѣецъ поднялъ посоловѣлые, ничего, казалось, не различавшіе, не понимавшіе глаза.—Хорошо, онъ споетъ, конечно, разъ этого требуютъ свои, откликъ которыхъ онъ слышалъ. Онъ послушенъ ихъ велѣнью—призыву, волѣ „великихъ тѣней"...

И онъ запѣлъ ее, эту страшную боевую пѣсню его братьевъ. Могучимъ движеніемъ поднялся онъ съ мѣста, выпрямился и, смотря вдругъ загорѣвшимися, воспаленными глазами туда, гдѣ стояли „вигвамы", гдѣ витали въ туманѣ души почившихъ героевъ,—въ эту страшную пропасть, — онъ пѣлъ имъ свою дикую, вольную пѣсню. И по мѣрѣ того, какъ онъ ее пѣлъ, по мѣрѣ того, какъ рѣзкіе гортанные звуки все смѣлѣе вырывались изъ его груди, онъ, казалось, росъ все выше и выше, дѣлался все легче, загорался все

большею страстью, становился все могучѣе и сильнѣе.

Онъ пѣлъ о блаженствѣ погибшихъ въ кровавой сѣчи, о Духѣ пустыни, къ чьимъ звѣзднымъ полямъ отходятъ тѣни храбрыхъ... О вѣчной, блаженной охотѣ, о золотомъ оленѣ, буйволѣ и лосѣ въ необозримыхъ лугахъ Великаго Духа... Онъ пѣлъ, что онъ вождь, водившій своихъ братьевъ къ побѣдамъ...

Онъ пѣлъ, а великія тѣни внимали...

Онъ пѣлъ о враждѣ къ бѣлымъ, трусливымъ, какъ зайцы, обманомъ ворвавшимся въ вольную прерію его братьевъ; онъ пѣлъ о геройствѣ этихъ братьевъ; онъ пѣлъ о страданіи и мукахъ, о томъ, что ударилъ святой часъ отмщенія; онъ призывалъ краснокожихъ къ жестокому бою...

Онъ пѣлъ... и великія тѣни отвѣтили тысячнымъ эхомъ...

— Смотрите, смотрите, онъ пляшетъ!— вскричалъ кто-то изъ толпы заинтересованныхъ невиданнымъ зрѣлищемъ гостей.—Ахъ, какъ онъ смѣшонъ!

Да, онъ плясалъ ее, воинственную пляску краснокожихъ, надѣляющую пляшущихъ такою страстной отвагой. Она поднимаетъ духъ и удесетеряетъ силы. Онъ слышалъ этотъ громкій боевой кличъ, общій откликъ на его призывъ о т т у д а, снизу. Это воины ото-

звались на пѣсню призывную своего великаго вождя и, готовясь въ бой, онъ долженъ проплясать боевую пляску...

— Мистеръ Смартбой, дорогой сэръ! — взмолились дамы, — пусть онъ намъ покажетъ свое искусство! Пусть онъ покажетъ, какъ метаютъ индѣйцы томагаукомъ.

— Томагаукомъ? Ахъ, да, — здѣсь есть онъ, — мы захватили для рубки хвороста!... Эй, Черный Ястребъ! — крикнулъ веселый мистеръ Смартбой, взявъ въ руки топорикъ. — Эй, слушай!

Но тотъ плясалъ. Тамъ, внизу, плясали съ нимъ и великія тѣни. Онъ видѣлъ, какъ мѣрно колыхались въ долинѣ ихъ прозрачно-бѣлыя очертанія... Они зовутъ его туда, къ себѣ, внизъ, — въ вольную прерію, къ роднымъ „вигвамамъ" его воинственныхъ братьевъ... Онъ слышитъ и его сердце трепещетъ восторгомъ, загорается страстною отвагой...

— Слушай! Что же ты это? Ну-ка, покажи, какъ швыряютъ у васъ томагаукомъ!...

Чей это голосъ, чей дребезжащій смѣхъ коснулся слуха великаго вождя, готоваго ринуться въ объятія безсмертныхъ тѣней героевъ?! Чей это холодный, безстрастный взоръ смотритъ прямо въ его воспаленныя очи? Кто смѣлъ коснуться вождя и остановить его пляску? Кто?!... Индѣецъ не узнавалъ и не

понималъ ничего... Бросить томагаукъ?! Зачѣмъ?!

Мистеръ Смартбой отошелъ уже къ гостямъ, а тотъ все еще стоялъ неподвижно, ничего не понимая и не узнавая... И вдругъ—онъ узналъ! Возбужденное лицо индѣйца моментально исказилось бѣшенымъ гнѣвомъ, глаза запылали еще ярче. Дикій крикъ, похожій на стонъ, вырвался изъ его сжатыхъ губъ и разнесся внизу по долинѣ, предупреждая братьевъ о томъ, что врагъ ихъ близко. Какъ!? и сюда? Къ границамъ его свободныхъ братьевъ осмѣлился проникнуть этотъ подлый колдунъ? И стоитъ и смѣется глазами?! Новый бѣшеный крикъ предупрежденія вырвался изъ устъ индѣйца, и видѣлъ онъ, какъ заколыхались, задвигались на него великія тѣни, какъ бросились внизу къ оружію его краснокожіе воины... Сейчасъ, одну минуту—и онъ будетъ съ ними!... Только одно мгновеніе,—онъ сведетъ свои счеты!... Теперь онъ вождь и не боится колдуна!...

— Ну же, швыряй скорѣй,—хоть въ эту сосну, что ли!

Бронзовая рука поднялась съ томагаукомъ высоко надъ красною тогой и пукомъ бѣлыхъ перьевъ и медленно описывала круги... Всѣ гости пикника съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ уставились жадными глазами въ индѣйца...

А тотъ стоялъ неподвижно и, еслибъ не это слабое движеніе руки, его можно было бы принять за античную статую, отлитую изъ мѣди. Но вдругъ эта вытянутая рука рѣзко откинулась назадъ и на мгновенье какъ бы застыла неподвижно. Еще одно сильное и быстрое движеніе, — скорѣе кистью, чѣмъ всею рукой, — что-то мелькнуло въ воздухѣ, свистнуло... и мистеръ Смартбой съ раскроеннымъ на-двое черепомъ упалъ къ ножкамъ прелестной мистрисъ Бэтси.

— Ахъ!

Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ общій крикъ ужаса ликовавшихъ гостей, въ тихомъ вечернемъ воздухѣ далеко разнесся торжествующій, гортанный хохотъ... Великій вождь извѣщалъ своихъ о побѣдѣ. Оттуда, снизу, они отвѣтили ему громкимъ эхомъ и дикій хохотъ гулко катился по глубокой долинѣ... Костры его братьевъ вспыхнули ярче... „великія тѣни" дрожали привѣтомъ....

И прежде чѣмъ кто-либо изъ ошеломленныхъ гостей могъ двинуться съ мѣста, индѣецъ прыгнулъ съ обрыва. Непобѣдимый вождь, ставшій легче птицы, ринулся въ пропасть къ „великимъ тѣнямъ" и братьямъ...

. . . .

Въ столицѣ естественно всѣ пришли въ ужасъ отъ такой черной неблагодарности....

ИЗЪ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

ИЗЪ ЛЮБВИ...

РАЗСКАЗЪ.

Право же, нашъ городокъ совсѣмъ напрасно обвинялъ предобрѣйшаго Кузнечикова въ крайнемъ пессимизмѣ... Если, правда, онъ и утверждалъ съ такимъ жаромъ, что у людей даже горячая любовь и самое искреннее желаніе добра приносятъ часто объектамъ того и другаго однѣ лютыя муки въ результатѣ, разбиваютъ подчасъ всю жизнь человѣка, точно самая злая нелюбовь,—то все-таки это не мѣшало ему любить жизнь, вѣрить въ нее и считать ее великимъ благомъ. И обвинялъ онъ въ такихъ случаяхъ не „бытіе“, какъ дѣлаютъ это дѣйствительные пессимисты, а непомѣрно-де раздутый эгоизмъ, и властолюбіе современнаго человѣка, мѣшающіе будто бы хорошо видѣть и понимать изъ-за своего „я“ — чужое, а слѣдо-

вательно уважать и принимать въ разсчетъ желанія, потребности и особенности этого чужаго „я“. Неменьшее значеніе придавалъ онъ тутъ и разнымъ установившимся издавна понятіямъ, представленіямъ или „предразсудкамъ“, по его словамъ, нашего жизненнаго обихода, гдѣ все-де размѣрено и подведено по рубрикамъ еще отъ дѣдовъ, залѣпляющимъ-де глаза человѣка и заставляющимъ его будто бы поступать не по разуму и совѣсти, а по той или иной „рубрикѣ“.

— Вымотаютъ у человѣка душу и сердце,—кричалъ онъ,—напихаютъ вмѣсто нихъ всякихъ „рубрикъ„ съ ярлыками „се, молъ, добро, а се зло“, „се добродѣтель, а се порокъ“,—и пустятъ гулять по свѣту, не разбираясь, такъ ли оно или не такъ... Ну, какова же и будетъ „любовь“ такого человѣка?! Что изъ его „желанія добра“ выйдетъ,—будь онѣ хоть самыя разгорячія и самыя разъискренныя?!..

— А то выйдетъ,—отвѣчалъ нашъ „философъ“, — такъ звалъ городокъ смотрителя училища (и голова же былъ этотъ „философъ!“), —а то выйдетъ-съ, что, получивъ твердыя правила, человѣкъ и будетъ всегда поступать правильно-съ!

— И чужую жизнь разобьетъ!?

Истина требуетъ сказать, что, выпаливъ такой парадоксъ, Кузнечиковъ немедленно иллюстрировалъ его фактами, хотя, конечно, съ извѣстными натяжками. Онъ ссылался на генеральшу Пистонову, что выдала насильно свою единственную и любимую дочь, влюбленную было въ лохматаго учителя,—за старика богача Распекаева, чѣмъ, естественно, испортила всю ея жизнь. Кузнечиковъ увѣрялъ, что тутъ-де виноваты все тѣ же эгоизмъ, властолюбіе, а главное тѣ же внѣдренныя съ дѣтства „рубрики" съ ярлыками: „mesaliance", „счастье въ богатствѣ" и т. д., которыя заслонили генеральшѣ ея любовь и совѣсть. Онъ ссылался и на Федину мамашу, заставлявшую сына хватать черезъ силу „пятерки" въ классѣ, вмѣсто того, чтобы дать ему поотдохнуть, — отчего хилый мальчикъ и закашлялъ кровью. Ссылался и на добродѣтельную историческую старушку, подложившую несчастному Гуссу и свои три полѣнца... Много приводилъ онъ еще разныхъ другихъ фактовъ, прихватывалъ и женъ, и мужей, и отцовъ,—но на указанную старушку упиралъ въ особенности и, какъ увидитъ читатель, имѣлъ на то свои личные и большіе резоны.

Очень можетъ быть, что, не уклоняйся онъ отъ серьезнаго спора, и ему легко до-

казали бы всю ложность его заключеній. Но бѣда была въ томъ, что онъ немедленно умолкалъ, какъ только споромъ заинтересовывались люди солидные и съ большимъ авторитетомъ. Онъ упорно молчалъ, когда нашъ достойный пастырь, отецъ Арефа, сокрушенно заявлялъ, что съ такимъ „пессимизмомъ“, съ такимъ отрицаніемъ твердо установленныхъ „осново-началъ“, легко, конечно, сбиться съ истиннаго пути и пойдти по стезѣ лжеученій и поклоненія идоламъ. Онъ молчалъ, когда нашъ достойный исправникъ высказывалъ опасеніе — не подрываетъ ли такой пессимизмъ незыблемости законовъ. А на возраженія болѣе общаго характера, дѣлаемыя другими, на указанія, что такимъ-де путемъ легко прійдти и къ отрицанію принциповъ вообще,— онъ только и кричалъ, сардонически покручивая рыжеватую бородку:

— Принципы! Ишь чѣмъ напугали, — принципами?!! Да что такое ваши принципы, какъ не голыя формулы, шаблонное примѣненіе которыхъ къ каждому явленію можетъ принести подчасъ неизмѣримое зло!? Не лги— принципъ! А развѣ вы не лжете больному, скрывая отъ него опасность?! Развѣ не изъза принципа жарила добродѣтельная старушка Гусса, да еще можетъ быть и любовно-то жарила!? Принципы!

За это-то и звали его пессимистомъ, какъ онъ ни злился на эту кличку...

Правду сказать, было время, когда Кузнечиковъ былъ совсѣмъ иной. Въ нашъ городокъ онъ прибылъ розовымъ идеалистомъ, полнымъ благоговѣнія къ принципамъ, въ мягкой, любящей душѣ котораго не было и слѣда какихъ бы то ни было желчи и скептицизма, не только пессимизма. Много, думаю, должны были насолить ему разныя генеральши Пистоновы, Федины мамаши и добродѣтельныя старушки, прежде чѣмъ онъ пришелъ къ такимъ ужаснымъ заключеніямъ. Я и хочу разсказать вамъ, что за смѣшная, хотя можетъ быть и грустная, исторія вышла у него при первой встрѣчѣ въ нашемъ городкѣ съ подобной старушкой.

Какъ и почему явился Кузнечиковъ въ наши холодныя палестины, я говорить не буду: во первыхъ, это мало идетъ къ дѣлу; во вторыхъ, онъ и самъ къ этому факту относился какъ-то философски-спокойно: вышла, молъ, такая линія,—ну, и ничего не подѣлаешь! Онъ не тосковалъ, не грустилъ, не нылъ! а, прибывъ, послѣ долгаго и утомительнаго пути въ городокъ, немедленно усѣлся за любимыя книги, вычисленія и какой-то мудренѣйшій трактатъ, за которымъ просиживалъ иногда цѣлыя ночи, ничего кругомъ

не видя и ничѣмъ другимъ не интересуясь. Кажется, онъ разсчитывалъ въ будущемъ представить этотъ трактатъ какъ ученую диссертацію, и, право, со стороны можно было подумать, что Кузнечиковъ даже вполнѣ счастливъ, получивъ, наконецъ, досугъ и возможность послѣ долгихъ передрягъ и пути предаться любимому дѣлу. Изъ-за этого вѣчнаго сидѣнья за книгой, постоянной замкнутости, нежеланія войдти въ нашъ „кругъ“, участвовать въ нашихъ пикникахъ и вечерахъ, городъ и прозвалъ его сначала „анахоретомъ“.

Знакомство велъ онъ только съ Кожинымъ, университетскимъ товарищемъ, всего за годъ передъ тѣмъ прибывшимъ въ нашъ городокъ на должность окружнаго врача. Кожинъ, конечно, просилъ его поселиться съ нимъ, пожить хоть немного у него, чтобы лучше осмотрѣться въ новомъ мѣстѣ, но тотъ и слышать не хотѣлъ, — ему нужны де были полная тишь и одиночество для излюбленнаго книгоѣденья. Въ первый же день онъ снялъ себѣ свѣтелку на окраинѣ у одинокой старухи-староверки, смахивавшей по виду на бабу-ягу такъ же точно, какъ ея домикъ на пресловутую „избушку на курьихъ ножкахъ“, сейчасъ же переселился и засѣлъ за свои книги и трактатъ. Кожинъ выѣхалъ въ ок-

ругъ, гдѣ открылась тифозная эпидемія, а когда вернулся, то засталъ своего пріятеля просто въ восторгѣ отъ старухи-хозяйки.

— Не хозяйка, а кладъ! — ликовалъ онъ.—Ей-Богу, точно родная мать за мной ходитъ!

И старушка въ свою очередь, правду сказать, была имъ очень довольна... То и дѣло бѣгала къ сосѣдямъ и все хвалилась новымъ жильцомъ.

— Такого ужъ Господь послалъ,—такого, что и сказать не могу!—тараторила она, захлебываясь отъ радости, что и жилецъ у нея есть и поговорить съ сосѣдками есть о чемъ.— Воды, слышь, не замутитъ, — словно дѣвица красная! Не по здѣшнимъ мѣстамъ человѣкъ! Н-ѣ-ѣ-тъ, родимыя не по тутошнимъ!... Чтой-то такихъ я какъ будто и не видывала.

Дни проходили за днями, а обоюдная радость жильца и хозяйки, обоюдное довольство ихъ другъ другомъ все росли и росли. Если добрая отъ природы старуха явилась для Кузнечикова кладомъ, то и онъ для нея въ свою очередь былъ таковымъ же. Скука, вѣчное одиночество, отсутствіе новыхъ впечатлѣній, о которыхъ можно было бы всласть побесѣдовать, „отвести душеньку“ съ разными сосѣдками-старухами, Митревнами, Сидоровнами и т. д.—пріѣстся хоть кому; пріѣлись они дав-

но и Карповнѣ! Новый жилецъ, какой-то странный, необычный, — „тихой“ человѣкъ, какихъ она еще „не видывала“, кромѣ дохода принесъ ей еще и развлеченье, — хоть душа-то, молъ, живая въ домѣ есть — а затѣмъ, казалось, явился и объектомъ, которому она могла, пожалуй, отдать свою неудовлетворенную до сихъ поръ потребность материнскаго чувства, материнской любви, какъ извѣсто, никогда не глохнущей въ женскомъ сердцѣ, всегда живой и сверлящей, Въ прошломъ Карповны ничего, кромѣ „ада кромѣшнаго“, какъ сама называла она пережитое, не было, о какой бы то ни было ласкѣ не было и помину. Въ дѣтствѣ осталась она круглой сиротой, выдали ее затѣмъ замужъ за пожарнаго, прельщеннаго ея крохотной наслѣдственной избушкой, который то и дѣло дежурилъ на каланчѣ, а отдежуривъ, напивался и тузилъ жену за разбитую-де жизнь, пока не сгорѣлъ съ пьяна на пожарѣ, оставивъ ее горемычной вдовой самъ-третей съ избой, коровой, да собакой Жучкой. Только всего и было у нея на бѣломъ свѣтѣ, потому что сыночка-малолѣтка Богъ прибралъ. Ласку, доброе, человѣческое къ себѣ отношеніе, деликатность она узнала только отъ своего „чудного“ жильца... И неудивительно, что, присмотрѣвшись, примѣнившись, попривыкнувъ, она незамѣтно для себя самой дѣй-

ствительно привязалась къ нему и привязалась именно такъ, какъ только и могутъ привязываться одинокія старухи, никогда, во всю свою многострадальную жизнь не любившія, можетъ быть, толкомъ. Привлекали ее и скромность жильца, и его дѣйствительно сердечная доброта и ласковость, и наивность въ дѣлахъ жизненнаго обихода, и самое равнодушіе къ своему благу, какая-то непонятная ей, но нравившаяся безпечность въ вопросахъ о личныхъ выгодахъ.

— Такъ ужь къ ему тянетъ, такъ ужь тянетъ!—захлебывалась въ восторгѣ Карповна своимъ сосѣдкамъ Митревнамъ и Сидоровнамъ.— Такой ужъ ласковой, такой тихой, ровно, скажу, младенецъ!.. Все ему ладно, что ни сдѣлай, что ни скажи!

— Спервоначалу, можетъ быть!—возражали тѣ немного скептически, проученныя горькимъ опытомъ, чѣмъ только въ сущности подзадоривали счастливую Карповну. — Ты, слышь, дѣвонька, въ оба гляди, — въ оба, слышь, гляди, какъ бы чего, упаси Господи, не вышло... Зна-а-емъ мы эту ласковость, сами видали! Спервоначалу-то всѣ поди такіе... Варнакъ, вѣдь,—откедова прибрелъ-то!? Въ оба, слышь, гляди!

Старуха глядѣла „въ оба"; въ самомъ дѣлѣ, хитры вѣдь, они, эти пришлые „рассейскіе"

люди, умѣющіе прикидываться ягнятами, чтобы послѣ выпустить свои волчьи когти, остро отточенные тюрьмой, этапами, развратомъ большихъ центровъ, всей сутолокой безалаберной городской жизни и отвращеньемъ къ труду, воспитаннымъ и тѣмъ, и другимъ, и третьимъ! Глядѣла она подозрительно „въ оба“, — но изъ глядѣнья этого, конечно, такъ-таки ничего и не вышло. Жилецъ оставался все попрежнему добрымъ, ласковымъ и „чуднымъ“ человѣкомъ, все по-прежнему „не мутилъ и воды“, возился день деньской съ своими книгами, точно ничего больше и знать не хотѣлъ на свѣтѣ. И сердце доброй Карповны таяло все больше и больше.

Очень можетъ быть, что не вздумай Карповна полюбить своего жильца — и они до конца остались бы добрыми пріятелями, она—кладомъ-хозяйкой, онъ—разлюбезнымъ жильцомъ. Но, на бѣду свою, она полюбила его ревнивой материнской страстью, полной деспотизма, какъ зачастую бываетъ, и, понятно, заботиться только о томъ, чтобы онъ былъ сытъ, чтобы ему было хорошо, тепло, уютно, спокойно—стало для нея уже мало. Ее вдругъ озаботила и его „душенька“, его духовное „я“, его будущее. Теперь, когда онъ сталъ для нея какъ бы „своимъ“, точно недѣлимой ея частью, ея собственностью, ее стало заботить

и что онъ такое на самомъ дѣлѣ, что онъ думаетъ, кто онъ, зачѣмъ и что за книги вѣчно читаетъ; она стала, наконецъ, ломать голову, почему онъ такой „чудной“, не какъ всѣ, отчего-де такой тихой и скромный. Строгая до фанатизма послѣдовательница своего толка, она съ горечью убѣждалась, что Кузнечиковъ не вѣритъ ея предразсудкамъ, не исполняетъ ея обрядовъ,—но въ то же время видѣла, что изо-дня въ день онъ ведетъ самую „праведную“, скромную, „монашескую“, по ея понятіямъ, жизнь, даже не пьетъ и не куритъ. Онъ никакъ не укладывался въ рамки съ дѣтства вложенныхъ въ ея бѣдную голову представленій о добромъ и зломъ, праведномъ и неправедномъ человѣкѣ, и это-то смущало ее въ особенности, даже совсѣмъ сбивало съ толку. Въ одно и то же время Кузнечиковъ, казалось, былъ и „праведникъ“ и „грѣшникъ“, и какъ бы „монахъ“ и „нехристь“... Какъ хотите, а тутъ, казалось старухѣ, было что-то „неладно“, было что-то загадочное, чудное, необычайное, что-то такое, что и заинтриговывало вмѣстѣ и какъ будто пугало.

— Ума не приложу сердешныя,—шептала совсѣмъ сбитая съ толку бѣдная Карповна своимъ сосѣдкамъ,—что за чудной-пра-такой человѣкъ!.. Не видывала что-й-то такихъ!.. Пра невидывала!..

— Все въ книжку читаетъ, говоришь— угрюмо, недоумѣвая тоже, переспрашивали тѣ.

— Все-е-е, милыя! Все въ книжку!—почти плакалась старуха.—Даже въ кровать ляжетъ и то книжку предъ собой держитъ! Никогды, чтобы слово тебѣ супротивное—ни-ни! Какъ ребеночекъ словно!

Сосѣдки не помогали рѣшенью сложной, головоломной и страшной, казалось, въ то же время загадки и такимъ образомъ любовь Карповны мало-по-малу перешла для нея просто въ пытку, которая только разжигала и бередила и безъ того острое чувство любопытства... Желаніе, потребность во что бы то ни стало проникнуть въ недающійся тайникъ, уяснить и разоблачить себѣ все съ каждымъ днемъ становились сильнѣе. Старуха даже спать перестала и все только лихорадочно металась въ своихъ думахъ, догадкахъ, безпокойствѣ, зорко слѣдя за жильцомъ, за каждымъ его шагомъ, ничего не видя такого, что помогло бы уясненію, и ничего не понимая въ то же время. А бѣдняга-Кузнечиковъ, не подозрѣвавшій даже и во снѣ, не только на яву, ни этой любви, ни пытки, не замѣчавшій страннаго, лихорадочнаго безпокойства хозяйки, съ каждымъ днемъ давалъ все больше и больше поводовъ для новыхъ недоумѣній, сомнѣній, тревогъ, и все сильнѣе запутывалъ таинственный узелъ.

— Ира, слышь, дѣвоньки, ума не приложу!—удивлялась и ахала Карповна предъ сосѣдками.—Вотъ, хоть голову срѣжь! Онамеднись я чайникъ разбила, полоскамши, а а енъ хотъ бы тебѣ словечко!

— Ну-у?!—недовѣрчиво и удивленно тянули сосѣдки.

— Вотъ не сойдти мнѣ съ мѣста!.. Хоть бы словечко! Сама же на него, дѣвоньки закричала: добра, молъ, тебѣ своего не жаль, что-ли?—а енъ только ухмыляется!

— Ухмыляется?!

— Только! Ну, что-жъ, говоритъ, разбила, такъ разбила, — на то, вишь, онъ изъ глины, что-жъ, молъ, дѣлать-то!? Новый говоритъ, куплю! Да еще и штаны Митькѣ-посельщику подарилъ, почитай совсѣмъ новые!... Ну, и чудной-же дѣвки, ира, чудной?

Сосѣдки съ какимъ-то сожалѣніемъ чудного человѣка, недоумѣвая, покачиваютъ головами. Такихъ онѣ не видывали!.. Чтобы безъ единаго словечка за разбитое?! Опять же штаны?! чайникъ!? Нѣтъ, тутъ несомнѣнно есть что-то особенное!..

— И виномъ, говоришь, не занимается?

— Ни-ни! Ни Боже мой!—клянется Карповна.—Не видывала! Ни маковой росиночки,—не сойди я съ мѣста! Ужь я день-деньской

все въ щелку-то гляжу, всѣ глаза проглядѣла, милыя, а ничего такого не видывала! Ни Боже мой! Вотъ те Христосъ!

— Все въ книжку читаетъ!?

— Все-е, милыя! Съ утра, слышь, только поднимается, такъ и клюетъ въ нее, да строчитъ, знай! Ч-у-д-н-ой, пра! — качаетъ Карповна головой. — И каки-таки книжки?! Святыя, чтоль?

Она не договариваетъ и въ смущеньи умолкаетъ. Ей даже страшно подумать, что эти книжки могутъ быть не святыя, а какія-нибудь... кто его знаетъ какія! Страшно и за себя, и за свою любовь, и за „евойну душеньку"..

— А ты попытай его! Попытай, Карповна, можетъ, что и скажется!—надоумила ее разъ сосѣдка.—Что-й-то сумленіе беретъ меня... Какой-такой праведникъ въ нашихъ мѣстахъ вдругъ объявился!.. Попытайко-сь его виномъ сперволачалу!

Для Карповны, втайне сгоравшей лихорадочнымъ любопытствомъ, такой совѣтъ пришелся какъ разъ по вкусу... Отчего въ самомъ дѣлѣ и не попытать, мало она, что-ль, изъ-за него уже настрадалася?! Авось праведность-то вся разлетится и человѣкъ объявится каковъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, а съ ея души тогда и вся тяжесть заботы спа-

детъ. Мало-ли людей притворяется, отъ вина открещивается, а, глядишь, прорветъ его,—и валяется онъ гдѣ нибудь подъ заборомъ на срамоту и на смѣхъ! А можетъ отъ вина и разскажетъ что... Вино веселитъ, языкъ развязываетъ; перестанетъ онъ букой сидѣть да въ свою псалтырь-не псалтырь глядѣть!..

Такъ думала бѣдная Карповна, глубоко возмущенная и даже какъ будто обиженная, что тайникъ ей никакъ не дается и все остается такимъ же тайникомъ. Злорадно, казалось, ухватилась она за поданный ехидный совѣтъ, но доброе сердце старухи, конечно, трепетало въ то же время отъ страха и сжалось бы невыразимой болью, приведи это „пытанье“ къ чему нибудь нехорошему. Такая непослѣдовательность и раздвоенность наблюдается часто въ жизни. Развѣ не такъ-же говоритъ раздосадованная мать своему шалуну ребенку, не смотря на всѣ уговоры тянущемуся къ свѣчѣ;—„ну... на, бери!“, чтобы затѣмъ сейчасъ же страстно пожалѣть и любовно разцѣловать потянувшіеся къ огню рученки? Или, еще лучше, — не такъ ли же „пытаетъ“ эта самая мать своего лакомку, нарочно оставляя на столѣ запретные соблазны, а сама лихорадочно наблюдая за нимъ съ затаеннымъ страхомъ со стороны?... Но Кузнечиковъ, какъ и слѣдовало ожидать,—и не

подозрѣвавшій истиннаго характера приставанья Карповны съ водкой за обѣдомъ, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ,— „пытанье“ выдержалъ блистательно. Онъ дѣйствительно и въ ротъ не бралъ никогда хмѣльнаго. Такимъ образомъ, какъ ни билась Карповна, но изъ ея „пытанья“ ничего кромѣ новыхъ доводовъ въ пользу „праведности“ жильца не получалось. Пробовала она оставлять вино въ его свѣтелкѣ, точно по забывчивости, — авось, молъ, коли притворяется, самъ на самъ-то и не выдержитъ,—но опять ничего не выходило... Какъ ни слѣдила Карповна въ свою щелку, водка не убывала,— жилецъ совсѣмъ точно и не видѣлъ ее!

— Не беретъ! Ни к-а-а-пельки, милая!— шептала старуха надоумившей ее сосѣдкѣ.— И не глядитъ даже! Въ ротъ, говоритъ, не беру, — вотъ те Богъ! Какъ ужь я ни приставала,—не беретъ, слышь! — Духу, говоритъ, не выношу!

— Ну, а ты его теперь дѣвицей попытай! Супротивъ этого оно трудно, слышь! Ежели супротивъ нея выстоитъ, — ну!.. Умная сосѣдка не договорила, а только руки развела.

Началось новое „пытанье“ и ободренная неудачей старуха повела его гораздо смѣлѣе. Къ удивленію ничего не подозрѣвавшаго Кузнечикова вѣчно тихая, безмолвная кухонька,

гдѣ только трещали до сихъ поръ сверчки да кряхтѣла Карповна, превратилась въ шумную сибирскую „вечорку“ съ гармоніей, пѣніемъ и плясомъ. Красавицы дѣвки, одна другой лучше, „шутили шутки“ съ парнями, водили плясъ и поднимали такой содомъ, что бѣднякъ волей-неволей долженъ былъ оставить свои книги. Онъ вышелъ поглазѣть, но велъ себя, конечно, такъ, что у надоумившей Карповну сосѣдки совсѣмъ опустились руки. Не только не ухаживалъ за красавицами, не только не „шутилъ вольныхъ шутокъ“, но и выглядѣлъ какимъ-то строгимъ старцемъ, не то красной, жеманной дѣвицей.

— Да ты что-жъ букой-то стоишь!—окликнула она его,—что жмешься-то недотрогой!— Ну-ко-сь въ плясъ!..

Ай, вы дѣвки красныя, вес-ё-ё лыя,
Вы лебедки не ущ и н-нныя!

залилась она вдругъ визгливымъ фальцетомъ, прихлопывая въ ладони.

— Ну-ко-сь, возьмите его, красавицы, что ему идоломъ-то стоять! Ну-ко-сь!—выходила она изъ себя.

Дѣвушки взяли Кузнечикова, но онъ выглядѣлъ такимъ растерянным букой, такъ переконфузился, такъ неуклюже двигался, бормоча одно и тоже: „я не умѣю“ да „я не

умѣю“, — что волей-неволей пришлось его оставить.

„Вечорка“ шла за „вечоркой“, а Кузнечиковъ не только не увлекался, но даже сердито уходилъ изъ дому, заслышавъ издали приближающіеся гамъ и топотъ. Очевидно, *такъ* дѣло не выгорало, и старуха рѣшилась на героическое средство.

— Что-й-то я тебѣ скажу, слышь! — начала она, совсѣмъ неожиданно войдя въ свѣтелку, какъ разъ въ то время, когда Кузнечиковъ дописывалъ въ своемъ трактатѣ что-то крайне важное. Онъ слегка поморщился, но встрѣтилъ ее по обыкновенію ласково.

— Что скажешь, Карповна!—отвѣтилъ онъ, кладя перо и поворачиваясь, но, очевидно, плохо слушая, глубоко занятый своими мыслями.—Что скажешь?

— Надзирателеву дѣвушку знаешь?

— Какую-такую надзирателеву?—недоумѣвая, вытаращилъ Кузнечиковъ глаза и сдвинулъ брови.

— Баскую такую, изъ себя полную,—что въ намедневомъ годѣ у надзирателя жила... Анютой звать,—бѣленькая такая, слышь! Аль не помнишь,—пѣсни даве заводила?!

— Анюту?!—какъ же, помню!

— Ну, ну... Такъ она, слышь, пересказать тебѣ велѣла, что ежели... коли что...

такъ она съ полнымъ своимъ удовольствіемъ... Потому, пондравился ты ей...

Кузнечиковъ сразу не понялъ, а когда разобралъ, то покраснѣлъ какъ маковъ цвѣтъ и насупился волкомъ.

— Нѣтъ, Карповна,—сурово отвѣтилъ онъ пытливо всматривавшейся въ него старухѣ;— нѣтъ, — ты это оставь! Нехорошо это, Карповна!..

Старуха вспыхнула,—ее вдругъ прорвало.

— Чѣмъ коришь-то!? Что туточка нехорошаго!? Монахъ ты, что ль—говори!?—наступала она расходившись.—Монахъ!? Какой такой-монахъ.?

— Ну, монахъ,—будь по-твоему; только оставь это!—нетерпѣливо отвѣтилъ Кузнечиковъ, чтобы скорѣе отвязаться, и повернулся къ работѣ.

— Монахъ!? Нѣтъ, ты говори!—наступала не унимаясь старуха.—Ты толкомъ скажи... Монахъ! А въ постный-то день скоромное? А лобъ-то часто-ль крестишь? А платье-то на тебѣ,—а...

Кузнечиковъ молча взялъ шапку и вышелъ раздосадованный. Онъ недоумѣвалъ, что это вдругъ стряслось такое съ тихой, доброй старухой, и отчасти винилъ себя, что можетъ быть слишкомъ рѣзко отвѣтилъ ей на ея наивную, совершенно въ характерѣ мѣстныхъ

простыхъ нравовъ, болтовню. Тѣмъ не менѣе, царившій до сихъ поръ миръ былъ уже нарушенъ, и во всякомъ случаѣ Кузнечиковъ чувствовалъ себя уже не такъ привольно какъ прежде.

А старуха совсѣмъ растерялась, даже испугалась немного этого молчаливаго ухода. Она сейчасъ же, конечно, побѣжала каяться сосѣдкамъ, прося „наставить на умъ“ и выручить совѣтомъ изъ этой каши „пытанья“. Тѣ, конечно, тоже ахали вмѣстѣ съ нею.

— А можетъ человѣкъ въ самъ-дѣлѣ спасается? — поколебалась надоумливавшая на „пытанье“.—Кто его знаетъ?! Разное, вѣдь, на свѣтѣ бываетъ, дѣвонька!.. Можетъ и спасается....

Покой старухи былъ нарушенъ окончательно. Цѣлыя ночи на пролетъ металась она какъ въ лихорадкѣ на печи, сильно заинтересованная этой возможностью „спасанья“, тщетно ломая голову надъ необъяснимыми противорѣчіями: „монахъ“ и скоромное, „праведникъ“ и грѣшникъ, „спасается“ и живетъ на міру и ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ. Безъисходный сумбуръ наполнялъ ея голову, но потребность разобраться въ немъ, уяснить себѣ всѣ эти противорѣчія, все загадочное, таинственное,—росла и росла. Приставать къ Кузнечикову она больше не рѣшалась, а сама до-

биралаcь до всего, страшно напрягая всѣ силы своего мозга, давнымъ-давно все рѣшившаго, все опредѣлившаго, всему давшаго свою форму, въ которомъ все было подведено еще съ дѣтства подъ строго опредѣленную рубрику, отъ дѣда къ внуку переходившими положеніями. До сихъ поръ тамъ все, казалось, было ясно, каждое явленіе имѣло свое опредѣленное имя, вполнѣ ему соотвѣтствовавшее: то-то было „грѣхомъ", то-то „святостью", это — „правдой", то — „неправдой", „монахъ" долженъ быть непремѣнно такимъ, а „грѣшникъ" вотъ этакимъ; теперь же тамъ все смѣшалось, все спуталось, какъ скомканныя нитки... День проходилъ за днемъ, ночь за ночью, а путаница, сумбуръ все росли и росли...

Очевидно для старухи было одно, что жилецъ ея не то, что всѣ, а несомнѣнно что-то иное... Но что же именно такое?—вотъ этого-то она и не могла рѣшить никакъ. Ее положительно сбивала съ толку эта „праведность" жизни, замкнутость, скромность, неустанное чтеніе и т. д., — все, что такъ рѣзко отличало Кузнечикова отъ „другихъ прочихъ". Ну, развѣ не „монахъ" только не куритъ, не пьетъ, бѣжитъ красавицъ, запирается отъ свѣта, относится ко всѣхъ любовно и мягко? Несомнѣнно, одинъ только монахъ, потому-что всѣ, безусловно всѣ люди, не монахи, посту-

паютъ иначе... Съ этой стороны жилецъ все-цѣло, казалось, входилъ въ рамку ея издавна, еще съ дѣтства сложившагося представленія о „монахѣ“. Но какой же онъ монахъ? Что значитъ эта грѣховная сторона его? И какіе же могутъ быть на свѣтѣ другіе еще монахи, кромѣ извѣстныхъ ей „божьихъ“ монаховъ въ черныхъ рясахъ, съ черными клобуками, изможденныхъ строгимъ постомъ и молитвой?

Разъ вопросъ былъ поставленъ такъ, Карповна уже приблизилась къ его рѣшенью...

И дѣйствительно, въ одну глухую, безсонную ночь на нее вдругъ снизошло вдохновенье. „Монахъ то онъ монахъ, — точно зашепталъ въ ней какой-то внутренній голосъ, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнья, но не настоящій, не „божій“, — вотъ въ чемъ бѣда! Настоящій-то монахъ насчетъ „скоромнаго“ и прочаго — не такъ... Какой же онъ, чей же монахъ“?—Ее начиналъ охватывать почему-то ужасъ, она старалась заглушить свои страшныя мысли, старалась не думать, но тотъ же назойливый внутренній голосъ все продолжалъ и продолжалъ свое... Чей же онъ въ самомъ дѣлѣ? Міръ она дѣлила на божій и чортовъ, людей дѣлила такъ-же. Чей-же?! И вдругъ въ ней какъ будто просвѣтлѣло. А что, если „чортовъ“?—смутно зашевелилось въ ней.—Что, въ самомъ дѣлѣ, если

„чортовъ“?! Отчего-же бы чорту и не имѣть своихъ монаховъ?!

Старуху объялъ холодный, бездонный ужасъ. Зубы ея застучали какъ въ лихорадкѣ, въ испуганномъ, возбужденномъ мозгу роились страшные черти, вставали призраки кромѣшнаго ада, бряцали цѣпи, шипѣла смола, уготованная для „него“, а можетъ быть уже и для нея. Сначала она какъ будто и не повѣрила себѣ, но сознаніе, какъ бы обрадовавшись, цѣпко ухватилось за ужасное открытіе и невидимый внутренній голосъ неопровержимыми силлогизмами разсѣевалъ одно за другимъ всѣ сомнѣнія. Онъ шепталъ ей, что жилецъ ея „варнакъ“, напоминалъ о скоромномъ, о другомъ, о третьемъ, и страшное убѣжденіе, повергавшее все въ большой ужасъ, вползало въ душу на мѣсто сомнѣнія. Неужели въ ея свѣтелкѣ изо дня въ день совершалось какое-нибудь таинственное колдовство по этимъ страннымъ, совсѣмъ непохожимъ на святыя, книгамъ? Неужели такому она отдала и свои помыслы, и сердце, и ласку? Старуха вскочила въ неописуемомъ страхѣ, зажгла предъ иконой освященную свѣчку, зашептала святыя молитвы...

Но съ сердцемъ своимъ она все-таки совладать не могла. Къ ея ужасу оно подсказывало ей не проклятья, билось не злобой, не

гнѣвомъ, — оно учило ее спасти несчастнаго, спасти во что бы то ни стало. Да, спасти! — Добрая Карповна готова была для этого на всякую жертву. И это одно, конечно, было уже большимъ грѣхомъ, — но что же могла она сдѣлать съ собою, если бившемуся страхомъ сердцу было въ то же время и такъ невыразимо жаль?.. Ей хотѣлось только убѣдиться во всемъ во очію, неопровержимо и непоколебимо, а это, казалось, было нетрудно.

Она быстро придумала ловушку.

День Кузнечиковъ провелъ у своего пріятеля Кожина, а вечеромъ, вернувшись домой и войдя въ свѣтелку, засталъ ее полною густаго, непроницаемаго ладоннаго дыма, тяжелыми клубами висѣвшаго въ воздухѣ, обволакившаго все. Въ удивленьи остановился онъ среди своей свѣтелки, растопыривъ руки и поводя изумленными глазами... Пуще всего на свѣтѣ, кажется, боялся онъ угара, а между тѣмъ густой дымъ просто душилъ, бѣднякъ задыхался и закашлялъ во всю мочь.

А старуха слѣдила за каждымъ его движеніемъ жаднымъ, лихорадочнымъ взглядомъ и сердце ея колотилось въ испугѣ и тревогѣ все сильнѣй и сильнѣй. Она замѣтила его смущеніе, изумленіе, даже испугъ, какъ ей казалось, и убѣдилась во всемъ! Теперь последнее сомнѣніе, если таковое и было, — разлетѣлось прахомъ. Лицо ея вытянулось.

— Что ты? Что это такое? Зачѣмъ?—недоумѣвая бормоталъ Кузнечиковъ, задыхаясь.— Зачѣмъ это, Карповна?

— А-а-а!? Н-н-не любишь?! — злорадно протянула та въ отвѣтъ и въ тонѣ ея голоса ясно зазвучали и ужасъ, и хищная радость поймавшаго дичь охотника.—Н-н-не любишь!?

— Да, вѣдь, я задохнусь!—голова разболится! Что ты, помилуй?!

Но та торжествовала. Подперевъ щеку рукой, не спуская съ него лихорадочно блестѣвшаго злораднымъ торжествомъ взора, она продолжала тянуть свое:

— Н-не любишь?! Гол-лова заболитъ!? Гол-ловы жалко!? А „душеньки“, небось, нѣѣтъ? „Душеньки“ не жалко?

— Какая душенька? Что съ тобой? — совсѣмъ недоумѣвалъ Кузнечиковъ.

— Какая душенька?!—съ укоромъ, качая головой, переспросила Карповна.—Ишь ты, не знаешь!? Какая душенька!? А ты не вертись, — покайся, слышь! Всё-ё-ё знаю! Всё! Ладону боишься. А ты его не бойся, — для душеньки своей не бойся! На пользу онъ ей,—на добро!—уже всхлипывая упрашивала любящая старуха.

— Да ты хмѣльна, Карповна, что-ли?— все еще недоумѣвалъ Кузнечиковъ, понемногу раздражаясь.

— Хмѣльна!? Ишь ты, что выдумалъ! Не хмѣльна, а любя говорю,—для душеньки, для твоей, брось свою нечисть, оставь! Покайся, говорю! Брось его,—отрекись!

— Да кого „его“? — выходилъ уже изъ себя Кузнечиковъ, ничего не понимая.

— Н-не зна-а-ешь!? Ишь! Да своего-то,—пропади онъ совсѣмъ, окаянный! Тьфу на него! Отрекись, говорю, брось! О душѣ-то своей подумай! Святъ, святъ, святъ!...—забормотала, совсѣмъ плача, старуха.

— Ну, вотъ что, Карповна, я съѣду, если еще разъ! Я не могу! — говорилъ внѣ себя Кузнечиковъ, ничего по-прежнему не понимая и думая, что старуха рехнулась.—Ей-Богу, съѣду!

Онъ нахлобучилъ шапку и выбѣжалъ на улицу.

— Не серчай, Филиппычъ!—молила та его въ догонку. — Не серчай, сердешный! Для добра, вѣдь, для душеньки твоей! Любя, вѣдь, Филиппычъ! Фи-ли-ппычъ!...

Но тотъ бѣжалъ безъ оглядки и прямо къ доктору.

— Старуха моя рехнулась!—выпалилъ онъ ему, вбѣжавъ задыхаясь, — Богъ ее знаетъ, что съ нею сталось! Бѣги-ка, братъ, къ ней!...

Докторъ побѣжалъ стремглавъ и прямо влетѣлъ въ свѣтелку. Карповна лихорадочно сue-

тилась по свѣтелкѣ, полной еще ладоннаго дыма и, шепча молитвы, быстро наводила свѣчной копотью большіе черные кресты на бѣлыхъ стѣнахъ, потолкѣ, косякахъ, вездѣ, куда только доставала рукой.

— Что ты, Карповна?! Что дѣлаешь?!

Та быстро остановилась, испугавшись его оклика, и повернулась къ нему.

— Это ты, баринъ?!—узнала она, наконецъ, доктора, всмотрѣвшись. — Для души Филиппыча стараюся! Жалко мнѣ его сердешнаго. Одолѣлъ его окаянный... Для души его...

— Да съ нимъ-то что-жъ по-твоему?

— Съ нечистымъ, слышь, спознался,— вотъ, не сойди я, съ имъ! Въ услуженіи у него, въ послушникахъ,—а мнѣ его, слышь, жалко! Жалко, слышь, полюбился онъ мнѣ, прости Господи! — и старуха принялась рыдать.

— Все, слышь, спалить надо! — говорила она всхлипывая, полная навѣяннаго ужасомъ ожесточенія,—весь грѣхъ спалить... Все!

И быстро схвативъ дрожащими руками его записки, вычисленія, объемистый трактатъ,— все надъ чѣмъ бѣднякъ корпѣлъ такъ долго, на что возлагалъ такія надежды, чѣмъ жилъ изо-дня въ день, — вся обливаясь горячими

слезами, она навѣки похоронила въ багровомъ племени ярко пылавшей печи.

Кузнечиковъ осунулся и даже позеленѣлъ отъ горя. Онъ увѣрялъ, что самый злѣйшій врагъ по самой лютой злобѣ едва ли рѣшился бы на то, что было сдѣлано ему доброй Карповной изъ любви и желанія добра. Съ этихъ-то поръ, можетъ быть, онъ и началъ относиться скептически къ этимъ, въ сущности высокимъ, чувствамъ. По крайней мѣрѣ онъ всегда восклицалъ съ жаромъ:

— Любовь!! Желаніе добра!! Такъ-то оно такъ, чувства высокія, положимъ, но ихъ однихъ мало-съ! Нужно, судари мои, еще и умѣть любить и творить добро! А это штука не легкая-съ! Не всякому дается! Да! Тутъ, батюшки мои, и головой поработать нужно! Бываютъ-съ и такія положенія, что невольно завопишь: не любите меня, сердешные, и добра вашего не нужно!

И очень сердился, когда Кожинъ, шутя, звалъ его „чертовымъ монахомъ“.

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ.

Увы, я проснулся!...

Опухшими отъ долгаго сна глазами,—чувствуя только тупую тяжесть въ головѣ, ничего еще не понимая и не сознавая, — я вглядываюсь въ полумракъ крохотной, почернѣвшей отъ времени горенки и протяжно и долго зѣваю. Въ горенкѣ полусвѣтъ, ибо сквозь щели и дыры въ стѣнахъ и плотно прикрытыхъ ставняхъ врываются лучи яркаго лѣтняго солнца и бѣгаютъ по потолку и полу неугомонными зайчиками. Со двора доносится голосъ „жизни":—чириканье влюбленныхъ воробьевъ, амурное кудахтанье куръ и чья-то невозможная пьяная ругань.

До всего этого мнѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Я хочу, я долженъ спать, — спать и только спать; бодрствуя, сойдешь съума отъ тоски, отъ бездѣлья... Сонъ—это спасеніе... Ничего не чувствуешь, не сознаешь, ничего не хочешь, и ѣсть не надо,—а это тоже не мало значитъ; да къ тому-же

..... спятся
Золотыя грезы,
Какъ роса на солнцѣ,
Высыхаютъ слезы.

Я закрываю глаза, зарываюсь въ подушку, закрываю ухо локтемъ и сплю.... Нѣтъ, я дѣлаю усилія, я стараюсь заснуть.

О, ужасъ, сна нѣтъ!

Да, нѣтъ его! Я спалъ долго, безконечно долго, какъ не спитъ самый усталый человѣкъ. И сну есть видно мѣра.

Но я не хочу сдаваться сразу, позорно, безъ боя... Я напрягаю всѣ свои силы, чтобы заснуть, чтобы заставить себя заснуть. Съ цѣлью убить мысль, сознаніе, я начинаю безсмысленно считать про себя цифры разъ, два, три,... десять,... сто,... пятьсотъ,... шестьсотъ,... шестьсотъ шестьдесятъ шесть...

— Апокалипсисъ... „Число звѣрино“... Наполеонъ I, проносится при послѣдней цифрѣ въ просыпающейся головѣ.

О, проклятой мозгъ, проклятое сознаніе, и ты, ассоціація идей! Какъ-бы избавиться отъ нихъ, отъ этихъ непрошенныхъ, незванныхъ гостей! Морфія-бы принять...

— Но гдѣ-же его взять! проносится въ головѣ.

Впрочемъ, что-же это? Я начинаю думать, — значитъ „жить“! Еще Декартъ сказалъ... Чортъ знаетъ что... и этотъ Декартъ въ голову лѣзетъ! Спать!

Я прибѣгаю къ „воображенію“. Крайнее и однообразное напряженіе утомляютъ мозгъ, а

утомленіе ведетъ ко сну... Лучше всего воображать, или заставить себя вообразить, представить,—длинную, длинную дорогу, съ безконечнымъ рядомъ телеграфныхъ столбовъ:... я знаю это по опыту...

Я воображаю длинную, длинную дорогу,— сѣрую и пыльную... рядъ телеграфныхъ столбовъ... безконечная даль... туманъ какой-то дальше... Я, кажется, засыпать начинаю...

Но что-же это такое вынырнуло вдругъ на дорогѣ?.. Это—тройка! Да, тройка... и сидитъ кто-то и машетъ назадъ рукой... Боже мой,—да вѣдь это я на тройкѣ... я самъ!.. Это я машу рукой, переѣзжая „границу"... и говорю: „прощай!"

— Фу, ты!—такъ не заснешь!

Лучше „вообразить" море... сѣро-зеленыя волны, вѣчно ходячія, неугомонныя... вѣчно качающіяся... Онѣ убаюкаютъ меня, какъ ребенка колыбель... Вотъ онѣ ходятъ и качаются... Какъ мѣрно и плавно, какъ строго пластически... Вотъ валъ; наверху бѣлая пѣна... Вотъ чайка... Опять волны и волны... волна за волною... безконечныя, безконечныя волны...

Опять!.. опять что-то выдѣляется въ сѣромъ волнистомъ туманѣ.

Дымъ... свистъ.. это пароходъ! Вотъ зеленые берега... и опять я на пароходѣ, и опять я машу рукой и говорю „прощай"...

А кто-то такъ горько, такъ горько плачетъ!

Эти воспоминанья не дадутъ спать! Нужно стараться „ничего не думать, не сознавать... лежать трупомъ". Ба, идея! По индусски, какъ учатъ брамины: направить взоръ въ одну точку! Навѣрное набѣжитъ сонъ...

Я направляю взоръ въ одну точку, упорно и долго смотрю въ уголъ кровати, — но все уже напрасно... Я дѣлаю неимовѣрное напряженіе, — не думать; но разъ проснувшаяся мысль не засыпаетъ, не даетъ покоя. Голова по ассоціаціи идей наполняется всякой всячиной... Цѣлая вереница эпизодовъ, лицъ, историческихъ драмъ и житейскихъ дрязгъ проходитъ безконечной панорамой въ воспоминаньи... Вотъ Будда—этотъ доисторическій титанъ Азіи, этотъ другъ человѣчества, изрекшій ему въ утѣшеніе: „твой удѣлъ страданье"... твое блаженство—въ „ничто"...

Неужели онъ правъ? А я, а мое состояніе?.. Но развѣ одинъ личный опытъ что нибудь значитъ?.. Я вспоминаю давнишній мой споръ съ Петромъ по этому поводу... Какъ онъ горячился, какъ онъ отстаивалъ свой „повисшій носъ", свою „хандру", свой искусствен-

но, жизнью созданный скептицизмъ! Онъ цитировалъ Шопенгауэра и восторгался Гартманомъ... А мнѣ жаль Шопенгауэра,—онъ честный и любящій человѣкъ, хотя и съ сильно повисшимъ носомъ! Какъ онъ долженъ былъ страдать! А впрочемъ, нѣтъ—онъ успокоился въ своемъ невѣріи и скептицизмѣ; „все—предѣлъ, его-же не прейдеши!“ Онъ вѣроятно и не ненавидѣлъ даже... Петра мнѣ больше жаль... Вѣдь это все накипѣвшая желчь говоритъ въ немъ... вѣдь это стонъ, а не убѣжденіе... это искуственное, наносное.

Растревоженная мысль окончательно просыпается... Я уже сознаю, и усилія мои побѣдить это сознаніе ослабѣваютъ... я теряю вѣру въ возможность заснуть вновь и чувствую это... Но что-же дѣлать? Господи-Боже, чѣмъ убить время, наполнить долгій, долгій день!.. Зайчики“ рябятъ въ глазахъ, врывающійся въ щели свѣтъ невольно привлекаетъ мое вниманіе; со двора все неистовѣе несется тотъ-же голосъ „жизни“ и ухо невольно прислушивается къ нему. О проклятый свѣтъ... и зачѣмъ это ты врываешься ко мнѣ непрошенный, незванный и будишь меня... Хотьбы минуту заснула эта „жизнь!“

Это — послѣднее проявленіе моихъ усилій. Я окончательно просыпаюсь!

— Что-же дѣлать?

Я методически, долго зѣваю и сто разъ задаю себѣ этотъ вопросъ. — Одѣться? Да, одѣться, а затѣмъ? Затѣмъ—ѣсть! подсказываетъ желудокъ... Ѣсть—значитъ сходить къ Анисъѣ... Ладно, а затѣмъ? Затѣмъ?

Этотъ вопросъ я задаю себѣ уже сидя въ постели, свѣсивъ голову и глубоко задумавшись. Въ самомъ дѣлѣ, что-же затѣмъ? Какъ-бы подавленный этимъ неотвязнымъ, безъисходнымъ вопросомъ, я точно въ изнеможеніи опускаюсь снова въ постель... Какъ ни напряжена мысль,—придумать я ничего не могу... Сходить къ тоскующимъ сосѣдямъ—тоска; читать сто разъ перечитанныя книги—тоска; дразнить „жучку“ — надоѣло, да она вѣрно убѣжала въ поле со скотомъ... Повадилась теперь бѣгать! Вотъ не сходить-ли къ Матренѣ узнать, не отелилась-ли „буренушка?“ радуюсь я вдругъ представившемуся полю дѣятельности; и въ самомъ дѣлѣ сходить,—а затѣмъ?

Снова не знаю я, что отвѣтить, и снова думаю и ничего не придумываю. Долго длится такое придумываніе, тяжелое и обидное до отчаянія. Спорить съ Петромъ о Гартманѣ, что-ли? Да, но вѣдь все это уже надоѣло и переспорено!

— О, Шекспиръ! Что, еслибъ твой Ричардъ, отдававшій полъ-царства за коня, былъ

въ моемъ положеніи? Ты-бъ навѣрное заставилъ его предложить „все“ за одинъ часъ осмысленной трудовой жизни!

Я начинаю одѣваться, медленно, методически, стараясь какъ можно дольше продлить время туалета, — все-же занятіе. Перебираю я свои лохмотья, которые ношу изъ приличія, по традиціи.... Нельзя-же совсѣмъ нагимъ являться на улицу!

Проснувшийся аппетитъ начинаетъ мало-по малу вытѣснять изъ головы всякія другія помышленія и желанія.

— „Ѣсть!“ шевелится въ головѣ... „Ѣсть!“ щемитъ въ желудкѣ... „Ѣсть!“ настоятельно требуетъ весь организмъ.

Я одѣваюсь быстрѣе и начинаю припоминать, когда это я ѣлъ въ послѣдній разъ. Это было вчера, ровно въ два часа дня, во время самаго страшнаго солнцепека... Мы купили у Анисьи десять луковицъ, десять огурцовъ, крынку молока,—Господи, какъ все это вкусно!—три фунта хлѣба и мигомъ уничтожили... Да, мигомъ,—я даже оглянуться не успѣлъ, какъ не осталось ни крошки... Помню, помню!.. Да, еще Анисья хотѣла содрать лишнюю копѣйку,—проклятая баба,—божилась, что овощи и молоко вздорожали. О, хитрая,—даромъ, что кривая на одинъ глазъ! Затѣмъ мы съ Петромъ улеглись, погрузи-

лись въ Нирвану, въ культъ Буддѣ вплоть до... до... до восьми вечера... да, до вечера. Затѣмъ проснулись... онъ ушелъ... а я?.. я продолжалъ покланяться Буддѣ до...?

Съ этимъ вопросомъ я открываю окно и съ нимъ ставень — и яркій, ослѣпительный день волной, неудержимой массой врывается въ горенку, на мигъ совершенно ослѣпляя меня. Я щурю глаза, жадно глотаю свѣжій, лѣтній воздухъ и, „приспособивъ, наконецъ, зрачекъ“, — какъ выражается учебникъ физики,—различаю на заваленкѣ старуху тетку Варначку. Изо дня въ день сидитъ тетка Варначка на своей заваленкѣ, спасаясь отъ тоски уличными происшествіями.

— Тетка... а тетка!—который часъ?

Старуха, тоже прищурившись, поворачиваетъ ко мнѣ свое доброе, многострадальное, все въ глубокихъ морщинахъ лицо и медленно и какъ-бы съ сожалѣніемъ спрашиваетъ:

— Аль проснулся, соколъ мой?

— Проснулся, тетка... вышелъ такой грѣхъ! который часъ?

— А кто его мѣрялъ?.. Много, поди... къ полдню близко!

И въ самомъ дѣлѣ близко. Сколько-же это я спалъ?

Много, много... теперь ѣсть нужно!.. И я торопливо застегиваю оставшіяся еще въ

видѣ традиціи пуговицы на нѣкогда европейскомъ, а теперь и чортъ не разберетъ какомъ костюмѣ.

— Рыжій-то сапоги пропилъ!—продолжаетъ старуха, обрадованная „живой душѣ", собесѣднику, стараясь какъ можно скорѣе подѣлиться своими впечатлѣніями, всѣмъ „видѣннымъ и слышаннымъ".

— О! возражаю я, занятый приведеніемъ въ порядокъ своего внѣшняго образа.

— У Ѳедосьи свинья опоросилась!

— А!

— Андрей съ Зеленой улицы опять жену избилъ!

Я очень радъ, что могу ограничиться одними междометіями и восклицаніями, — ибо старухѣ собственно и не нужны мои отвѣты. Она просто чувствуетъ что-то въ родѣ органической потребности подѣлиться съ человѣкомъ и только... даже не потребности, а обязанности... Почти молча выслушиваю я длинную хронику о „пропитомъ", „съѣденномъ", „побитомъ", „украденномъ" и перестаю наконецъ отзываться даже восклицаніями, что нимало не смущаетъ тетку Варначку, обязательно продолжающую посвящать меня въ тайны „жизни".

Но я думаю уже о другомъ, болѣе важномъ и существенномъ, чѣмъ хроника утра,—

покрайней мѣрѣ для меня лично,—я бесѣдую съ своимъ карманомъ.

Всего одиннадцать копѣекъ! Третьяго дня, когда я продалъ свою зимнюю шапку, было ровно тридцать... вчера уже двадцать двѣ... а сегодня одиннадцать. Плохо! Какъ-же быть завтра?.. Ну, да не бѣда,—проживемъ какъ-нибудь!

Что-же ѣсть? Три копѣйки — хлѣбъ. О, нельзя-ли хоть четыре? — копошится гдѣ то глухо,—но дѣйствительность сурово возражаетъ — „нѣтъ". Ну, ладно, — три копѣйки хлѣбъ! Лукъ и огурцы?.. Ну,—хоть... Больше копѣйки—никакъ нельзя... Никакъ нельзя,—потому завтра тоже ѣсть надо!.. Значитъ,—четыре... да три копѣйки молоко.—А марка! Господи,—почтовая марка!..

Я стою растерянный, точно подавленный тяжелымъ, до боли грустнымъ чувствомъ... О, какъ давно писалъ я уже ей,—моей дорогой, моей хорошей старухѣ-матери... Какъ давно уже ждетъ она не дождется вѣсточки, строчки, одной строчки того, кто для нея дороже жизни, чище слезы, прекраснѣе луча солнечнаго... Бѣдная, бѣдная!.. Какъ давно уже дрожала рука твоя, распечатывая конвертъ,—туманились слезами глаза, когда ты, рыдая, глотала дорогія строчки!.. Мать,—я

напишу тебѣ... сегодня-же!.. Дорогая моя!.. Къ чорту молоко!..

У кривой Анисьи покупаю хлѣба и луку— всего на четыре копѣйки... семь идетъ на марку. Сегодня Анисья, — странное дѣло,— ни слова о вздорожаньи,—напротивъ,—принесла цѣлой луковицей больше... Нѣтъ, не одной!.. двумя... тремя... Господи,—пятью громадными луковицами больше... Что это значитъ? И огурцы... пять громадныхъ, зеленыхъ, еще влажныхъ огурцовъ?! Анисья,— зачѣмъ? Вѣдь у меня нѣтъ денегъ. У меня только четыре копѣйки, всего-на-всего! Но она настойчиво суетъ мнѣ ихъ въ руки и при этомъ чего-то жмется, конфузится, — точно просить собирается... Чего тебѣ, Анисья? Что это значитъ? А! — Написать письмо сыну... сыну, который лежитъ за тридевять земель въ какомъ-то госпиталѣ... Я напишу такъ, Анисья... такъ... безъ платы! Но Анисья и слушать не хочетъ и все суетъ да суетъ заманчиво соблазнительные огурцы да луковицы. Вотъ,—а еще сегодня я обвинялъ ее въ хитрости и алчности! Какая тутъ хитрость да алчность?.. Сама суетъ въ руки!.. просто „пить-ѣсть надо“, а не алчность! Вѣдь и я тоже... Мнѣ совѣстно брать у Анисьи эти

огурцы и луковицы за письмо... а беру... беру вотъ! Потому что тоже „пить-ѣсть надо“, жить надо! Анисья не понимаетъ, что мнѣ тяжело брать ихъ, и потому суетъ ихъ такъ безцеремонно... Да, именно мнѣ тяжело, и я никогда не скажу, что эти лишніе огурцы— законный, естественный налогъ на Анисьину безграмотность. Нѣтъ, никогда не скажу.

Добрый часъ пишу я это письмо... все почти одни поклоны да поклоны: отъ тети, дяди, отъ сватьевъ и зятьевъ и проч., да кой-гдѣ, въ видѣ вставокъ, короткія извѣстія: что тотъ-де погорѣлъ, у того корова пала, тамъ коня украли и проч. Въ промежуткахъ между этими поклонами и извѣстіями Анисья заливается горючими слезами и несчетное число разъ сморкается въ фартукъ,—а на это уходитъ не мало времени. Но я терпѣливо выжидаю конца подобныхъ антрактовъ съ перомъ въ рукѣ. Пусть ее поплачетъ и посморкается,— не всегда ей выдается это счастье и возможность... За вѣковѣчной работой не до слезъ! Выпалъ досугъ побесѣдовать съ сыномъ,—ну, и слезамъ время!.. Какъ не заплакать?

Но вотъ письмо кончено и я сажусь на завалинкѣ глотать эти чудные огурцы, великолѣпный лукъ и заѣдать всю эту роскошь превкуснымъ хлѣбомъ... Вотъ и соль, и вода въ разбитой, но пригодной къ употребленію,

кружкѣ... Что-же это,—Ганька опять здѣсь? Какъ онъ знаетъ, проклятый, время моего обѣда: чутьемъ, что-ли? Тутъ, какъ тутъ—и какъ лукаво, умильно смотритъ на всю мою прелестную закуску!.. Ну, на... на... Аллахъ съ тобой,—садись и ѣшь!—И Ганька, бѣлобрысый мальчуганъ, въ одной изодранной рубашонкѣ, курносый, съ цѣлой копной волосъ на головѣ, садится и мигомъ вмѣстѣ со мною уничтожаетъ все до крошки...

Я подымаюсь и иду къ Петру.

Жаръ все усиливается... Эта жара короткаго сѣвернаго лѣта, просто невыносима, — духота какъ въ жарко натопленной банѣ... Въ горячемъ парномъ воздухѣ ни малѣйшаго движенія, ни струйки вѣтерка. Каждый шагъ подымаетъ густое какъ ночь облако пыли, которая долго не улегается и долго виситъ въ воздухѣ черныімъ облакомъ. Мое шествіе къ Петру точно ураганъ наполняетъ всю улицу тучей пыли. Пыль душитъ въ горлѣ, слѣпитъ глаза, щекочетъ въ носу, облѣпляетъ платье, сбѣгаетъ съ потнаго лица ручьями черной грязи. Двигаюсь я одинъ... окрестъ точно вымерло. Нигдѣ ни лица, ни голоса — только свинья хрюкаетъ въ лужѣ и этимъ хрюканьемъ свидѣтельствуетъ о жизни... Спятъ куры въ тѣни, спятъ даже собаки,

забывъ свою классическую роль охранителей и безъ лая пропуская мимо новаго челевѣка. Жара на все нагнала лѣнь и дремоту, а мирныхъ, незнающихъ куда дѣвать длинные сутки обывателей, угнала до вечера въ погреба, сѣни, сѣнники и прочія мѣста прохлады. Не спятъ только комары да аводы,—эти поистинѣ страшные бичи сѣвернаго лѣта... Облака ихъ обволакиваютъ меня вмѣстѣ съ пылью, но я какъ опытный человѣкъ уже, не отмахиваюсь отъ нихъ, а невозмутимо предоставляю всѣ открытыя части тѣла въ ихъ полное распоряженіе. Я вѣрю, что они „планида", и знаю, что борьба съ нею—немыслима.

Но вотъ и Петръ. — Счастливецъ, — онъ спитъ!—у него еще заперты ставни.

— Спишь!? кричу я что есть мочи изъ зависти, чтобы разбудить его.

Отвѣта нѣтъ.

— Спишь, Петръ? окликаю я еще громче и стучу въ ставень.

— Гм...м.... несется мнѣ въ отвѣтъ, какъ-то глухо,—это ты?

— Я. Спишь?

— Н...н...нѣтъ, не могу!

— Не можешь?

— Дѣлаю усилія... не беретъ! И что-то въ родѣ „чортъ побери" или и того похуже, вмѣстѣ съ самымъ краснорѣчивымъ зѣвкомъ, доносится до моего слуха.

— Такъ и я, братъ! Какъ ни напрягался,— ничего не подѣлалъ,—всталъ!

— Давно?

— Часа два.

— Несчастный! входи!

Я вхожу и долго ничего не могу разглядѣть въ темной горенкѣ. Парно, — какъ-то особенно душно, какъ въ жаркомъ, сыромъ подвалѣ. Петръ лежитъ на полу,—я растягиваюсь на скамьѣ, и, заражаясь зѣвками Петра, самъ зѣваю.

— Сколько проспалъ? доносится со стороны Петра.

— Часовъ шестнадцать!

— Важно!—и опять мы оба долго и протяжно зѣваемъ.

— Что-же дѣлать? нарушаетъ опять молчаніе Петръ.

Спорить...

— О чемъ-же, чортъ возьми, спорить?.. Все ужь, кажется...

Длинная пауза, прерываемая зѣвками.

— У меня во рту сухо, — возражаетъ Петръ.

Причина уважительная. Мы оба молчимъ. Петръ лѣниво начинаетъ оглядывать сапоги и прочія принадлежности туалета, какъ-бы разсчитывая, съ чего-бы начать... Онъ точно колеблется и точно застываетъ въ этомъ

колебаньѣ, какъ вдругъ въ дверь раздается стукъ... Разъ... два...

— Дома?..

Мы оба моментально вскакиваемъ, точно подъ дѣйствіемъ электрической машины... Петръ, какъ есть, бѣжитъ къ дверямъ отодвигать задвижку... Это — Ѳилимонъ. Авось какая-нибудь новость!

Ѳилимонъ—добродушный старикъ, стражъ мѣстнаго благочинія — со всѣми атрибутами своего величія и власти вваливается въ горенку и долго не можетъ разглядѣть, куда-бы присѣсть и кто на лицо.

— Н..н..ну,—спите! не-то укоризненно, не-то удивленно качаетъ онъ сѣдой головой.

Но мы не даемъ ему оканчивать сентенціи. На перебой забрасываемъ его вопросами: нѣтъ-ли писемъ, новостей или чего нибудь въ этомъ родѣ... На все старикъ только качаетъ отрицательно головой, а мы шлемъ ему тяжкіе укоры.—Онъ вотъ только газету несъ къ начальнику,—такъ по дорогѣ зашелъ,—не пожелаемъ ли де пробѣжать... поскорѣй только!

— Конечно, конечно! Спасибо! — Мигомъ распахивается окно, мигомъ вырывается изъ дюжихъ рукъ Ѳилимона № „Правительственнаго Вѣстника“,—на что онъ только добродушно улыбается, — и такъ-же мигомъ проглатывается, такъ что Ѳилимонъ едва-едва успѣлъ

закурить свою трубку. Проглатывается весь, цѣликомъ, съ заглавіемъ, съ подписной цѣной, съ телеграммами, съ хроникой урядниковъ, съ объявленіями и подписью редактора,— Все?. О, какъ скоро, — хоть-бы еще немножко!..

— Ѳилимонъ, неужели нѣтъ писемъ? Ни одного письма?

Ѳилимонъ отрицательно качаетъ головой и улыбается... Мнѣ какъ-то чувствуется, что онъ обманываетъ.

— Петръ, кричу я, есть письма! Давай, Ѳилимонъ!

И мы разомъ какъ-то набрасываемся на старика и начинаемъ тормошить его во всѣ стороны. Давай, давай!.. Ѳилимонъ только улыбается и слабо сопротивляется. Но вдругъ могучимъ движеніемъ плечъ онъ ловко вырывается на середину горенки и съ торжествующимъ хохотомъ вынимаетъ письмо.

— Ко мнѣ, ко мнѣ!—И оно уже у меня!

— „Дружище,—громко читаю я, пока Петръ глотаетъ строки чрезъ мое плечо — Ѵale... и ради самой дружбы научи, наставь, какъ спастись отъ тоски, отъ уподобленія себя Навуходоносору, въ травоядное превратившемуся. Я гибну, сохну, вяну, схожу съ ума отъ тоски, отъ бездѣлья, отъ невозможности хотя чѣмъ-нибудь убить сутки. Работы нѣтъ и нельзя имѣть,—ничего нѣтъ! Какъ спасаешься самъ, научи! Твой С—въ“.

— Петръ, — тихимъ, больнымъ голосомъ спрашиваю я,—Петръ... чѣмъ же спасаться?

Но Петръ вмѣсто отвѣта поворачиваетъ ко мнѣ свои большіе, вытаращенные въ недоумѣніи глаза.

Жаръ сталъ спадать... Уже не жарко,—а только какъ-то душно. Въ воздухѣ та же пыль и тишь, но не тотъ ослѣпительный, рѣжущій блескъ полудня... Какъ-то мягче, розовѣе свѣтитъ солнце, клонящееся долу... Скоро вечеръ, мягкій, теплый вечеръ, — а мы все сидимъ съ Петромъ, — какъ сѣли съ утра, прочитавъ письмо, по угламъ, — сидимъ и гложемъ собственныя души. Сидимъ и не шелохнемся! Зачѣмъ? Чего? Апатія, тоска, какая-то нравственная дремота,—не то дряблость, но то одурѣлость, вызванныя безвыходностью, охватили и мозгъ, и душу, и сердце. Такъ бы до послѣдняго вздоха, до послѣдней минуты не двигался, не шевелилъ бы пальцемъ, кажется! О, нѣтъ,—это такъ только кажется,— только снаружи, такъ сказать. Тамъ гдѣ-то, глубоко, глубоко, гдѣ не видно, не слышно,— незамѣтно для глазъ кипитъ работа, горячая работа! Да, — не замѣчая, не двигаясь, не сознавая кажется,—мы гложемъ съ Петромъ собственныя души, мучимся, терзаемся, глотаемъ незримыя, — но, Боже, какія горячія слезы. Иначе, отъ чего же было бы намъ такъ скверно, такъ душно, такъ гадко, такъ тяжело,

такъ страшно тяжело? Да, работа кипитъ: мы живемъ, — иначе и быть не можетъ. Но насколько мрачна сама жизнь, мрачна и функція ея—наша незамѣтная внутренная работа.

Мы молчимъ, не двигаемся, но цѣлый рядъ представленій, безсознательно вызванныхъ, тѣснится гдѣ-то глубоко и панорамой тянется предъ нашими духовными глазами.

Мы молчимъ, не двигаемся, не говоримъ, не глядимъ другъ на друга... Зачѣмъ! — мы чувствуемъ оба одно и то же, переживаемъ все душа въ душу. И мы хорошо это знаемъ... Не только слова,—не нужны намъ и взгляды... Я насквозь вижу, чувствую, такъ сказать Петра, какъ и онъ меня. О, я отлично знаю, что теперь ему видится такое мягкое и прохладное, рѣчное дно, такое тихое и задумчивое, такое нѣжное. Какъ тамъ покойно, — какъ чудно баюкаютъ волны!.. Пустяки, что раки вопьются, — не почувствуешь!... Или „мать сыра-земля“? Тамъ тоже такъ покойно и тихо, и безстрастно, и жары этой проклятой нѣтъ... Стоитъ только... Я отлично знаю это, и потому понимаю, почему вдругъ Петръ ворчитъ: глупо!

— Да, Петръ, да, глупо! подтверждаю я.

Петръ блѣднѣетъ и медленно поворачиваетъ ко мнѣ свое лицо. Губы у него дрожатъ.

— Что же? какъ-то злобно шипитъ онъ,— аль по пословицѣ:—„терпи казакъ, атаманомъ будешь“!?

Но прежде чѣмъ я успѣваю возразить ему, неистовый, дюжій басъ какъ громъ раздается подъ окномъ и прерываетъ болѣзненный споръ.

— Дома, вольтерьянцы, масоны?

— Дома, дома! кричимъ мы съ Петромъ и бѣжимъ къ окну.

Фантастически одѣтая фигура штабсъ-капитана, давнымъ давно поселившагося въ нашемъ городкѣ вслѣдъ за какою-то вольностью, выкинутой въ полку, заслоняетъ собою окно въ тотъ же моментъ.

— Дома! Что новаго?

— Новаго?

Добродушное лицо штабсъ-капитана смѣется... Смѣется давно небритый подбородокъ, смѣются еле-видныя изъ подъ длинныхъ рыжихъ усовъ губы, смѣются эти самые рыжіе усы, смѣется синебагровый носъ—о, какой синій!— и добродушнѣйшіе сѣрые глаза.

— Новаго? Есть! торжественно возглашаетъ онъ.

— О!?—Мы дрожимъ съ Петромъ.—Ну-же, рыцарь, герой, Ахиллесъ непобѣдимый!

Еще мягче смѣется доброе лицо... Съ невыразимою любовью перебѣгаютъ сѣрые глазки съ меня на Петра и обратно... Длинная рука

лѣзетъ куда-то въ лохмотья и въ окнѣ торжественно появляется бутылка.

— Стотррравная!

— Только? — восклицаемъ мы, повѣсивъ носы.—О, герой, о, „basso profondo“!.. Вѣдь это не по нашей части! Вѣдь знаете-же!..

— Стотр-р-равная! внушительно, строго возглашаетъ ея обладатель.

— Да, ну, ее къ дьяволу, вашу стотравную...

Улыбка исчезаетъ; доброе лицо хмурится, носъ похожъ на темную свинцовую тучу...

— Вы русскій?—Порывистый басъ при этомъ вопросѣ становится какимъ-то ехидно-бархатнымъ, мягкимъ.

— Еще-бы.

— Пейте!

— Но почему-же?

— Почему? П-пейте!

— Вотъ логика! ворчитъ Петръ. — Ну, представьте, что мы французы...

Добродушное, нахмуренное лицо моментально измѣняется... Сѣрые глазки глядятъ такъ ядовито-насмѣшливо, блещутъ такимъ неподдѣльнымъ смѣхомъ, что мы съ Петромъ поневолѣ улыбаемся.

Го-го-го-го!.. заливается басъ, — го-го-го!.. Французы!!... Французъ и безъ вина живъ-съ!..

Опять добродушно смѣются сѣрые глазки, съ усами, носомъ и прочимъ, и „стотравная“ обязательно опять протягивается намъ, но мы стоически отталкиваемъ ее.

Этого штабсъ-капитанъ переварить не можетъ... Лицо его хмурится до того, что походитъ на злое.

— П-пейте, а не то загрызете себя! ворчатъ длинные рыжіе усы.

— Вотъ еще! Вздоръ, рыцарь.

— Не вздоръ-съ! Вы русскіе-съ!

— Ну, такъ что-же? смѣемся мы.

— Ну, такъ что-же? ехидно переспрашиваетъ воинъ,—а отчего, напримѣръ, господа ученые, русскій человѣкъ въ Мекку не ходитъ?

— Въ Мекку?.. недоумѣваемъ мы.

— Н-да-съ! въ Меку!.. Почему, напримѣръ, магометкѣ не покланяется?

— Почему?

И прежде, чѣмъ мы успѣваемъ что-нибудь сказать, штабсъ-капитанъ съ дюжимъ, неистовымъ хохотомъ возглашаетъ:

— Руси-бо есть веселіе пити!

— Ладно, рыцарь, кабалеро сибирскій!... хохочемъ мы этому аргументу въ пользу „шкалика“,—скажи лучше, что дѣлать?

Сѣрые глазки на минуту закрываются и только рыжіе усы шевелятся, выдавая трудную внутреннюю работу.

— Да вотъ-съ, рыбу удить...

— Удочекъ нѣтъ...

— Тьфу ты, оборвали, значитъ! Ну, раковъ...

— И то правда, кричимъ мы,—давай ловить раковъ.

Около часа мы въ водѣ уже всѣ трое, по горло... Ощупываемъ ногами дно, отыскиваемъ рака, нагибаемся, хватаемъ руками и швыряемъ его далеко на берегъ... Капитанъ конечно впереди—гдѣ намъ угнаться за нимъ! У него то и дѣло свистятъ раки въ воздухѣ, грузно шлепаясь на берегъ. И, Боже, какъ онъ неистово хохочетъ надъ нами, надъ нашею неумѣлостью, приписывая ее, конечно, „университетскимъ теоріямъ“! И мы хохочемъ съ нимъ, хохочемъ надъ собой,— да, надъ собой! Правда, правда, рыцарь, мы мало чего знаемъ жизненнаго, обыденнаго,— мы знаемъ много теорій, много гипотезъ,— не умѣемъ поймать рака, — ты лучше насъ ловишь... Но и только!.. И только, рыцарь! Ты еще меньше насъ и хуже насъ знаешь эту самую „жисть“, какъ она есть,—гораздо хуже, несмотря на свое умѣнье всяческой „ловли“!

Мы грѣемся у костра и варимъ раковъ... Капитанъ добылъ гдѣ-то полуразбитый гор-

шокъ и соли... Что за прелесть этотъ ужинъ на свѣжемъ воздухѣ! О, это вздоръ, что нѣтъ хлѣба,—и такъ хорошо. Да и гдѣ его достанешь? Есть?—говоришь ты. И вправду есть, Ѳедорка - нищій тащится... у него навѣрное есть хлѣбъ,—а у насъ раки. Садись-же, Ѳедорка, грѣйся и ѣшь раки и дѣлись съ нами!— Мірское, говоришь ты,—„обчее“,—ну, ладно, ладно, знаемъ,—садись!

Ѳедорка садится, тяжело вздыхая, Сѣдая, сухая голова безсильно свѣшивается на грудь, черную какъ кормилица-земля, съ блестящимъ мѣднымъ крестомъ среди ручьевъ пыльнаго, чернаго пота. Петръ осматриваетъ его больную ногу и по всѣмъ правиламъ науки дѣлаетъ тщательную перевязву изъ старыхъ, запыленныхъ лоскутовъ и лохмотьевъ. Ѳедорка вздыхаетъ долго и протяжно и спрашиваетъ Петра: долго-ли ему жить осталось?

— Протянешь еще! говоритъ Петръ.

— Скорѣе-бы дотянуть! шамкаетъ старикъ, жуя кусокъ чернаго хлѣба.

Штабсъ-капитанъ насупился и уныло смотритъ въ огонь... Что мерещится ему тамъ, въ огнѣ, въ этихъ красныхъ языкахъ и клубахъ дыма? Не напомнила-ли ему чего-нибудь далекаго вся наша обстановка?.. Бивакъ - ли давнишній на носу у зоркаго непріятеля? Какъ-нибудь случай изъ прежней жизни, —

которому нѣтъ забвенія даже въ глоткахъ „стотравной“! Все грознѣе становится лица, все ближе и ближе сдвигаются брови. И Ѳедорка, жуя, уставился въ огонь и смотритъ неподвижно въ одну точку, — точно идолъ индусскій! Что онъ видитъ? Тысячи копенъ и сноповъ, что положили нѣкогда эти нынѣ безсильныя, худыя какъ щепки руки?

И Петръ насупился... и во мнѣ будитъ этотъ ужинъ на вольномъ воздухѣ, этотъ костеръ у рѣки,—полузабытое, полузаснувшее. Далекое встаетъ предъ глазами, цѣпь видѣній тянется въ головѣ, и, какъ живые, встаютъ дорогіе образы. Сердце начинаетъ биться сильнѣе, грудь дышетъ порывисто... Это не дымъ, нѣтъ, это маленькая уютная комната... Темно; только каминъ теплится, слабо освѣщая передній уголъ и отражаясь яркой струйкой на образъ Того, Кто впервые научилъ насъ любить ближнихъ своихъ. Кто-то дрожа и рыдая подымаетъ къ образу руки: „О, зачѣмъ ему дана такая доля?“ Руки протянуты, голосъ дрожитъ отъ муки и сильныхъ рыданій. Но вотъ она подымается во весь ростъ и твердо говоритъ; — „нѣтъ, нѣтъ, да будетъ воля твоя!“

Мать! Добрая хорошая мать!

Луна свѣтитъ такъ ярко, что я могу писать у окна въ своей горенкѣ... О, какъ тя-

жело! какъ страшно тяжело! Неужели пить? Или... Нѣтъ! пока есть силы,—нѣтъ! Только, мать,—поддержи меня своей любовью, своимъ теплымъ словомъ, а то я слабѣю, я падаю. Я все напишу тебѣ, все! Раскрою душу, покажу свое сердце, — ничего не спрячу, даже слезъ не спрячу, — поддержи только...

„Мать“—пишу я... Но вдругъ что-то тяжелое схватываетъ въ груди, сжимаетъ горло, подступаетъ къ глазамъ и на бумагу капаютъ горячія, горячія слезы...

НОВОЕ СРЕДСТВО.

(СТАРАЯ СКАЗКА).

Одному мирному и добродушному обывателю выпалъ недавно случай присутствовать на одномъ изъ модныхъ гипнотическихъ сеансовъ, гдѣ, въ числѣ другихъ, и его подвергли гипнозу. Все испытанное имъ и видѣнное тамъ, такъ сильно подѣйствовало на его мягкую, впечатлительную душу, что имъ овладѣли самое глубокое отчаяніе и страхъ за человѣка. Онъ, казалось, готовъ былъ потерять вѣру въ въ свободную волю, въ разумъ, въ грядущее... Сама жизнь казалась ему побѣжденной и древнія сказки о волшебникахъ, измѣнявшихъ по желанію тѣ или другіе ея законы,—какъ будто воскресали былью... Но добрый сосѣдъ скоро успокоилъ его, разсказавъ ему въ назиданіе эту старую сказку:

Ужасное волненіе охватило всѣхъ мирныхъ бюргеровъ добраго, старинняго городка, какъ только пронесся слухъ о новомъ, странномъ, почти страшномъ открытіи.

Было открыто, говорили, вѣрное, могучее средство прекращать всякую жизнь организма, не доводя его до смерти, до тлѣнія. Нѣсколько капель новаго, только-что открытаго группою ученыхъ маговъ, наркотическаго яда приводили живой организмъ въ какое-то особенное, безпробудно-гипнотическое состояніе, громко названное ими „соннымъ благоденствіемъ“. Организмъ замиралъ, — замирали всѣ его отправленія, всѣ функціи духовной жизни, все, все... Онъ навсегда терялъ волю, сознаніе, представленіе, — всѣ чувства и ощущенія безусловно умирали. Тѣло становилось холоднымъ, — но не разрушалось, не теряло никогда формы, эластичности, способности питанія и роста; и питаніе, и ростъ можно было поддерживать искусственно, помощью небольшаго электрическаго прибора. Самаго незначительнаго давленія на электрическія пуговки было достаточно, чтобы заставить сонно-мертвый организмъ ѣсть, пить, двигаться, бѣгать,— дѣлать что угодно; онъ всему повиновался одинаково тупо и безпрекословно. Пока дѣйствовалъ токъ, въ немъ просыпались всѣ способности растительной жизни, причемъ имъ можно было управлять по произволу; съ прекращеніемъ тока, онъ становился опять мертвымъ и неподвижнымъ. Словомъ, говорили,— живой, организмъ превращался въ послушный,

покорный манекенъ, но манекенъ вѣчный, живой, нетлѣнный. Это было, конечно, великое открытіе. И жизнь, и смерть отступали равно побѣжденныя!

Понятно, сначала этому не повѣрили.

Тѣмъ не менѣе это была правда, или почти правда. Надъ такимъ средствомъ давно работали нѣсколько послѣдователей и учениковъ знаменитаго Каліостро, производя безчисленные эксперименты и изысканія. То, что всѣ усилія древнихъ алхимиковъ въ этомъ направленіи терпѣли полнѣйшее fiasco, причемъ ихъ реторты и колбы лопались, часто съ опасностью для нихъ самихъ, ни мало не смущало нашихъ экспериментаторовъ. Справедливо или нѣтъ, но они полагали, что неудачи древнихъ, обусловленныя можетъ быть младенческимъ состояніемъ кабаллистической науки и плохими, несовершенными приборами, отнюдь не исключали возможности успѣха теперь. Хотя гипнотизмъ былъ еще совсѣмъ неизвѣстенъ и люди были, такимъ образомъ, лишены возможности счастливо забавляться, щекотать любопытство и пріятно убивать досугъ приведеніемъ другъ друга тѣми или иными пассами въ интересное состояніе сонннаго идіотизма,—тѣмъ не менѣе, входившіе уже въ моду, месмеризмъ и столоверченіе открывали, казалось, кое какіе горизонты и окрыляли экспериментаторовъ надеж-

дой. Тихо, незамѣтно для свѣта, какъ кроты, они продолжали работать въ своихъ лабораторіяхъ.

И вдругъ пронесся слухъ, что такое великое средство ими дѣйствительно найдено. Вслѣдъ за этимъ, когда скептики все еще продолжали насмѣшливо кивать головами, — появились объявленія, назначавшія день испытанія. Ученые маги публично объявляли, что въ такой-то день и часъ соберутся для послѣдняго, окончательнаго опыта, результаты котораго будутъ подробно возвѣщены во всеобщее свѣденіе. Понятно, людьми овладѣла лихорадка нетерпѣнія. Какъ водится, одни ожидали со страхомъ и тревогой, возмущаясь открытіемъ, низводившимъ, казалось, божье созданье — человѣка, надѣленнаго и разумомъ, и свободной волей, съ его пьедестала; другіе же ликовали и потирали руки, сгорая любопытствомъ... Все было возбуждено до послѣдней степени.

Въ назначенный день, еще за долго до опредѣленнаго часа, всѣ экспериментаторы были уже въ сборѣ въ большомъ и свѣтломъ анатомическомъ залѣ. Всѣ они были взволнованы и, какъ и всѣ взволнованные люди, казались разсѣянными. Молча шагали они изъ угла въ уголъ по большому залу нервной, лихорадочной походкой. Лица ихъ были блѣдны, брови сдвинуты, глаза горѣли. Минута приближалась

для нихъ и торжественная и страшная: они пришли поставить на карту все... и имя, и жизнь, и будущее... Въ случаѣ успѣха ихъ ждали и почетъ, и богатство, — въ случаѣ неудачи... то, что вообще ожидаетъ всѣхъ неудачниковъ. Было отчего блѣднѣть, отчего волноваться.

Испробовать дѣйствіе новооткрытаго яда на себѣ они, конечно не рѣшились... Для роковаго эксперимента была куплена ими за недорогую цѣну большая, но тощая, забитая, загнанная кляча. Привязанная къ столбу у входа въ анатомическій залъ, она беззвучно шевелила широкими, отвислыми губами, низко, понуро опустивъ голову и только изрѣдка хлопая ушами. По временамъ вся кожа ея, испещренная рубцами, вздрагивала по привычкѣ или потому, что на нее налетали то хищный оводъ, то слѣпая муха. Очевидно, она была слаба на ноги, такъ какъ часто мѣняла ихъ, попеременно налегая то на правую, то на лѣвую.

Предчувствовала-ли она свою участь, боялась?.. Конечно, нѣтъ! Только тупая покорность, безучастность, смиреніе, какое то фаталистическое смиреніе, воспитанное цѣлой жизнью, сквозило во всей ея жалкой, вялой фигурѣ, свѣтилось въ робкомъ, но свѣтломъ взглядѣ. Къ тому же она такъ обтерпѣлась, такъ ко всему уже привыкла, что едвали

могла еще чего-нибудь бояться, чего-нибудь дрожать особенно. Чего бы она, въ самомъ дѣлѣ, могла бояться, за что дрожать? — За жизнь?—Но, вѣдь, жизнь ея была одна неустанная каторга отъ зари до зари. Боли, простаго ощущенія боли? — Но изъ подъ кнута она никогда не выходила. За будущее?—Его она не знала,—она всегда жила только настоящимъ... Возила... возила и возила...

Голодъ, холодъ, кнутъ, чрезмѣрная работа, гоньба, — вотъ и вся ея доля. Сначала она пахала землю, потомъ попала военному ремонтеру и на ней гарцевали солдаты. Изъ полка перешла къ почтосодержателю и на ней мчались курьеры, пока не отбили ей ноги, послѣ чего она перебывала у многихъ хозяевъ, таскала воду и кирпичи, бревна, глину и т. д. на разныя постройки. И вездѣ кнутъ, кнутъ и кнутъ!..

Понуро стояла она у столба, не обращая ни малѣйшаго вниманія на упорные взгляды маговъ, которыми тѣ пронизывали ее время отъ времени черезъ окна. Безучастно ждала она знакомаго окрика, понуканья, удара, безъ которыхъ привыкла не двигаться съ мѣста, стоять покорно и смирно. Это дѣлало ее просто кладомъ для экспериментаторовъ. Но и съ другой стороны являлась она незамѣнимымъ экземпляромъ для даннаго опыта: орга-

низмъ ея не былъ настолько силенъ, энергиченъ, живучъ, чтобы сильно не поддаваться дѣйствію наркотическаго яда, и не былъ уже настолько слабъ, чтобы не выдержать его. Экспериментаторы, казалось, были вполнѣ довольны ею и все нетерпѣливѣе, все лихорадочнѣе ждали условленнаго часа.

Онъ пришелъ наконецъ. Часы зашумѣли и прозвонили... Ждавшая на улицѣ громадная толпа заволновалась и вся, какъ одинъ человѣкъ, стала всматриваться въ темныя окна анатомическаго зала.

— Введите!—раздался многоголосый, нетерпѣливый окрикъ ученыхъ маговъ.

Конюха ввели лошадь въ залъ и быстро удалились, плотно закрывъ за собою двери. Несчастная кляча сначала какъ будто удивилась, увидавъ себя въ такой необычной обстановкѣ, замотала головой, замахала хвостомъ, сильнѣе захлопала ушами, но сейчасъ же успокоилась и приняла свою обычную, покорную позу. Она стала какъ вкопанная, по обыкновенію, опустивъ голову понуро и низко.

Маги столпились кругомъ. Ни одинъ не проронилъ ни слова, — всѣ были слишкомъ заняты разсматриваніемъ, послѣдней оцѣнкой живучести, силы, здоровья несчастной клячи. Лица были нахмурены, и какъ-то торжественно

важны; у болѣе нервныхъ подергивало углы губъ и вѣки глазъ.

— На мой взглядъ, опытъ съ ней долженъ увѣнчаться успѣхомъ, — сказалъ, наконецъ, одинъ изъ нихъ, сѣдой старикъ, знаменитый звѣздочетъ и алхимикъ,—конечно, при условіи энергіи, осторожности и крайней послѣдовательности съ нашей стороны... Какъ думаете, коллеги? — и старикъ обвелъ всѣхъ глазами.

Всѣ согласились,—всѣ вздохнули свободнѣе. Такое мнѣніе посѣдѣвшаго въ экспериментахъ алхимика придало всѣмъ бодрости и разсѣяло сомнѣнія младшихъ.

— Такъ что-же—начнемъ?—спросилъ онъ опять.

— Начнемъ! — былъ отвѣтъ.—Руководите опытомъ.

Старикъ съ важностью поклонился и подалъ знакъ.

Изъ небольшаго ящика бережно вынули флаконъ темнаго стекла и, откупоривъ, поднесли къ ноздрямъ смирно стоявшей лошади. Та сначала инстинктивно шарахнулась и замотала головой, но грозный окрикъ вернулъ ей прежнее смиреніе и безучастность. Неподвижно, покорно, все въ той же удрученной позѣ, она медленно вдыхала въ себя одуряющіе пары наркотическаго яда.

Экспериментаторы не сводили съ нея глазъ. Старикъ важно слѣдилъ за секундной стрѣлкой и тихо считалъ про себя: разъ, два, три...

По мѣрѣ того, какъ лошадь вдыхала ядъ, съ тѣломъ ея начало становиться что-то дѣйствительно странное. Сначала застыли въ покоѣ уши,—но она все еще шевелила губами. Наконецъ, и губами она перестала двигать, только бока судорожно приподнимались при каждомъ вздохѣ, но и они остановились... Лошадь перестала дышать и стояла въ какомъ-то мертвенно-сонномъ оцѣпенѣніи. Она походила на вылитую изъ темной мѣди фигуру.

Одинъ экспериментаторъ укололъ ее толстой желѣзной иглой,—она не шевельнулась, другой ударилъ хлыстомъ,—она стояла такъ же неподвижно. Ей тронули открытый глазъ,—онъ не моргнулъ... Къ мордѣ поднесли зеркало,—она не дышала, на немъ не оказалось пятна. Приложили термометръ, — онъ показалъ температуру трупа.

— Будетъ!—крикнулъ распорядитель.

Флаконъ съ ядомъ спрятали въ ящикъ.

— Давайте баттарею... Сомкните цѣпь!

Цѣпь сомкнули. Распорядитель нажалъ пуговку аппарата и лошадь заржала,—другую— она заходила, — третью — она стала жевать поданный овесъ,—четвертую, пятую шестую... и она дѣлала все, что желали, и дѣлала какъ живая,

— Отнимите проводники!

Проводники отняли и несчастная кляча стала опять мертвой. Въ послѣднiй разъ ее заставили лечь на спину и теперь она лежала на полу растянувшись, согнувъ въ колѣняхъ ноги, — бездыханная, неподвижная, холодная...

— Уррра!

Этотъ восторженный крикъ вырвался какъ-то самъ собою. Маги были внѣ себя. Все, что накипѣло, наболѣло, всѣ сомнѣнья, всѣ тревоги, всѣ опасенiя, — все разлетѣлось. Торжество было полное, — оно само рвалось изъ груди, оно, казалось, подавляло. Они обнимались, поздравляли другъ друга, — по щекамъ текли слезы восторга. Сомнѣнiя не было, — они побѣдили и жизнь, и смерть!.. Лошадь мертва, — но останется живою... Они изобрѣли новое состоянiе: мертвую жизнь!

— Уррра!

Да, торжество было полное. Послѣ первыхъ взрывовъ восторга, всегда бурныхъ, наступило то блаженное состоянiе, которое называется полнымъ счастьемъ и выражается обыкновенно тихой, безмятежной задумчивостью. Счастье тутъ точно подавляетъ, Экспериментаторы стояли неподвижно, молча, въ глубокомъ безмолвiи, какъ-то безцѣльно смотря впередъ... Можно было слышать бiенiе ихъ пульса.

— Это вы?—спросилъ, вдругъ, распорядитель сосѣда.

— Что?—переспросилъ тотъ удивленный.

— Я слышу какой-то шорохъ, стукъ!..

— Нѣтъ! — отвѣтилъ сосѣдъ, — не я! — и оба оглянулись.

— Я слышу тоже!—крикнулъ еще кто-то.

— И я... и я!—подхватили остальные.

Всѣ начали тревожно вслушиваться. При воцарившейся безмольной тишинѣ дѣйствительно явственно слышался всѣми какой - то слабый, мѣрный стукъ.

— Это на улицѣ...—отозвался кто-то.

— Нѣтъ, — твердо отвѣтили нѣсколько голосовъ,—это здѣсь... въ залѣ!

— Не бьется-ли въ окнѣ муха?..

О, горе, стекла были чисты, ни одна муха не билась.

Лица ученыхъ маговъ вытянулись. На нихъ отпечатлѣлись и страхъ, и сомнѣнье, и тревога. Сильная радость, наступившая послѣ долгихъ тревогъ и колебаній, какъ извѣстно, всегда немного подозрительна.

— Что бы это было? — спрашивали они другъ друга.

А стукъ все продолжался, мѣрный, ровный, хотя и слабый стукъ.

— Да не наши ли это собственныя сердца?

Они стали вслушиваться, приложивъ руки къ груди. Ихъ сердца бились скорѣе, тревожнѣе... Сквозь біеніе собственнаго сердца, каждому слышался явственно все тотъ же непонятный, таинственный, мѣрный и ровный стукъ.

— Гдѣ? Что?

Они совсѣмъ теряли головы.

Пока всѣ стояли въ недоумѣніи, какъ будто колеблясь, не рѣшаясь приступить къ изслѣдованію, распорядитель уже вышелъ изъ круга и направился прямо къ лежавшей неподвижно лошади. Онъ сталъ на колѣни и приложилъ свое ухо къ ея холодной груди. Нѣсколько мгновеній стоялъ онъ такъ неподвижно, вслушиваясь, и лицо его становилось все блѣднѣе и блѣднѣе. Глядя на него, блѣднѣли и остальные. Вдругъ, онъ поднялъ голову и рѣзко, твердо, съ какимъ-то невыразимымъ отчаяніемъ, почти крикнулъ:

— Сердце!

Да, билось сердце!

Это было ужасно. Если билось, если жило сердце,—то жизнь совсѣмъ не угасла,—она всегда еще могла вернуться! Смерти, абсолютной, вѣчной смерти не было, — жизнь, очевидно, продолжала тлѣть въ гипнотизированномъ организмѣ. Выходило, дѣйствительно, такъ, что лошадь была только гипнотизиро-

вана на время. Новое средство оказывалось не сильнѣе хлороформа.

Это въ самомъ дѣлѣ былъ ужасный ударъ для ученыхъ маговъ.

Рѣзкій переходъ отъ одного остраго ощущенія къ противоположному ему, какъ извѣстно, часто бываетъ даже смертеленъ. Несчастные окаменѣли на мѣстахъ, какъ неподвижно лежавшая предъ ними кляча. Они тоже, казалось, не дышали... Лица ихъ стали бѣлы, какъ стѣны зала, глаза потухли.

— Жить! жить! жить!—мѣрно доносился до ихъ слуха ровный, слабый стукъ. Они явственно слышали это проклятое „жить“!

Стучало сердце,—сомнѣнья не было.

Пропали ихъ труды, ихъ усилія, ихъ надежды! Они—неудачники, смѣшные неудачники и больше ничего! Жизнь осталась жизнью,—она не побѣждена! Ужасъ, гнѣвъ, отчаяніе въ перемежку овладѣвали несчастными. Этотъ стукъ непобѣжденной жизни все, казалось, росъ и росъ и отдавался какъ раскаты грома. Точно сотни пушекъ вокругъ ревѣли и грохотали имъ это проклятое: жить, жить, жить! . . . .

Текли минуты... Экспериментаторы все также стояли неподвижно, гнѣвные, полные отчаянія, почти злобы, а маленькое, непокорное

сердце все такъ же билось, все такъ же, казалось, шептало свое ужасное: жить!

Что было дѣлать?

Они ломали головы... Холодный потъ облилъ ихъ съ головы до ногъ... Что придумать? Гдѣ разгадка неудачи такого вѣрнаго и сильнаго средства? Неужели жизнь сильнѣе?

— Жить! жить! жить!—стучало, какъ-бы въ отвѣтъ, сердце.

Они бы его вырвали! О, конечно, они могли сразу остановить его, заставить замолкнуть на вѣки. Тутъ же, на столахъ, валялись сотни тонкихъ и длинныхъ, острыхъ, какъ бритвы, скальпелей и ланцетовъ, а шкафъ былъ полонъ самыми сильными, самыми убійственными ядами. Одинъ ударъ такимъ скальпелемъ, частица грана одного изъ этихъ ядовъ и оно-бы замолкло на вѣки! Но развѣ въ томъ былъ вопросъ, развѣ это разрѣшало ихъ недоумѣніе, поправляло ихъ неудачу, дѣлало ихъ средство дѣйствительнѣе? Убить могъ и мясникъ, и живодеръ,—убійство не входило въ ихъ расчеты. Нѣтъ, они добивались превратить живой организмъ въ мертвый, не отнимая жизни, не разрушая, не убивая,—оставивъ его живымъ, но мертвымъ. И вотъ ихъ усилія пропали даромъ! Неужели?

— Жить! жить! жить!—какъ бы подтверждало неугомонное сердце.

Что́ было дѣлать, что́ предпринять? Они такъ вѣрили, такъ слѣпо, такъ страстно вѣрили въ могучее дѣйствіе открытаго средства... Множество гипотезъ, теорій, формулъ, рецептовъ промелькнули въ умахъ, множество кропотливыхъ, безсонныхъ ночей, въ которыя они тихо незамѣтно для людей работали надъ своимъ средствомъ, — пронеслись, какъ видѣнья. Даромъ, все задаромъ! Ихъ трудъ, ихъ безсонныя ночи, ихъ тайная работа,— все, казалось, пропало.

Нѣтъ, не пропало!.. Старикъ - распорядитель, казалось, нашелъ выходъ... Онъ быстро очнулся, поднялъ голову, глаза его опять горѣли. Всѣ обернулись къ нему, всѣ съ трепетомъ ждали его слова.

— Нашелъ,—началъ онъ задыхаясь отъ волненья,—нашелъ.

— Что̀, что́, что̀? — бросились къ нему товарищи.

— Нашелъ источникъ этой загадочной живучести сердца... Эта живучесть, это біеніе— одинъ рефлексъ,—продолжалъ онъ, — несомнѣнно сердце бьется рефлекторно... Свѣтъ, жизнетворный свѣтъ поддерживаетъ этотъ рефлексъ. Химико-физіологическое дѣйствіе свѣтовыхъ лучей сообщаетъ мертвому сердцу импульсъ и силу, Отнимемъ свѣтъ — и сердце станетъ!

Всѣ оживились, всѣ жали ему руки... Онъ спаситель! Онъ вѣрно угадалъ все! Долой свѣтъ! Загадка разрѣшена,—всему причиной онъ — свѣтъ! не даромъ его считаютъ источникомъ жизни... Долой—и руки протянулись къ ставнямъ и сторамъ.

Но легче было дать совѣтъ, чѣмъ его исполнить. Имъ самимъ, для опыта, наблюденій, нужно было хоть немного свѣта. Закрыть все—значило и самимъ остаться во мракѣ, ничего не видѣть... Нѣтъ, немного, щелочку оставить все-таки было нужно.

—' Ничего,—успокоивалъ распорядитель,—все таки мы вполнѣ достаточно ослабимъ дѣйствіе свѣта!..

И щелочку оставили.

Въ залѣ наступилъ полумракъ, какой бываетъ въ темныя, зимнія сумерки. Глазъ съ трудомъ различалъ предметы. Ученые опять столпились въ кругъ и въ странномъ волненіи прислушивались. Сердце, казалось, продолжало биться все-также мѣрно и ровно. Но вотъ, оно какъ будто стало замирать...

Ученые притаили дыханіе...

Дѣйствительно, сердце начинало биться медленнѣе... Удары все рѣже и рѣже, Но вдругъ опять по-прежнему, даже скорѣе, и, затѣмъ, совсѣмъ тихо..- Это судорога! Порою совсѣмъ громко слышно:—жить! Порою — ничего не

слышно... Это несомнѣнно было судорожное біеніе, послѣднее издыханіе жизни...

— Жить!—раздалось вдругъ совсѣмъ громко, и ученые отскочили.

Сердце, казалось, хотѣло лопнуть или выскочить изъ груди сильнымъ толчкомъ въ грудную стѣнку. Вѣроятно рефлекторно оно отозвалось на мышцахъ конечностей, потому-что лошадь, безсознательная, мертвая лошадь, лягнулась.

— Плохо!—отозвался кто-то.

—Нѣтъ... нѣтъ!—отвѣтили ему голоса,— это сейчасъ-же кончится, это послѣднее усиліе жизни!...

Но было не такъ. Сердце точно на зло продолжало биться, хотя и судорожно, то замирая, то громко и сильно, но все-таки билось, жило не умирало. Порою удары становились особенно сильными и тогда неподвижная, бездыханная лошадь какъ-то конвульсивно лягалась, судорожно двигала конечностями, точь въ точь, какъ гальванизированный трупъ. Видъ ея былъ тогда страшенъ, невыносимо страшенъ.

Проходили минуты, проходили часы... Мати то горѣли надеждой, то замирали съ отчаянія. А сердце все также, хотя и судорожно, съ остановками, продолжало стучать свое:

жить! и лошадь то лежала трупомъ, то корчилась въ конвульсіяхъ.

—Плохо!—отзывались голоса то тутъ, то тамъ.

— Ничуть!—твердо убѣждающе возразилъ распорядитель; организмъ, сверхъ чаянія, оказался слишкомъ живучъ. Выпустимъ ей немного крови и дѣло въ шляпѣ!

Опять воскресли надежды, опять всѣ оживились, вздохнули легко и свободно... Вѣрно, вполнѣ вѣрно, ларчикъ открывается просто! Всѣ великія рѣшенія очень просты! Стоитъ только выпустить немного крови, каждая капля ея есть капля жизни! Кровопусканье, правда, вредно, вредно несомнѣнно, но не лѣчить же собрались они сюда клячу!

Длиннымъ тонкимъ ланцетомъ, которыхъ валялось такъ много, вскрыли несчастной вену и на полъ брызнула струя темно-алой крови. Кровь текла, а сердце все также стучало свое: жить, жить, жить!

Проклятое сердце!

Въ ученыхъ просыпалась одна ненависть, глухая, безграничная ненависть къ этому неумирающему сердцу, къ этой неподдающейся клячѣ. Ненависть начинала заглушать собою все остальное.

— Надавимъ слегка на сосуды, питающіе мозгъ,—кричалъ распорядитель,— разобщимъ

мозгъ и сердце, насколько возможно... Легче, осторожнѣе, чтобы не убить!..

Экспериментаторы выбивались изъ силъ... Всѣ сосуды, казалось, были ими сжаты, всѣ главные сосуды... Но сердце продолжало стучать свое, а конвульсіи лошади росли, все росли. Она точно задыхаться стала.

— Легче, осторожнѣе, осторожнѣе!—кричалъ распорядитель.

Ничто не помогало, сердце продолжало жить! Приходилось отступить, признать себя побѣжденными, свое средство недѣйствительнымъ, или...

— Бросимъ! — сказалъ вдругъ одинъ изъ ученыхъ, — оставимъ!.. Средство наше негодно... Мы ошиблись... Бросимъ, оставимъ жизнь клячѣ!—и онъ поднялся.

Но другіе не соглашались. Эта живучесть сердца приводила ихъ просто въ бѣшенство. Все, все и разбитыя надежды, и пропавшій задаромъ трудъ, и безсонныя ночи, и непріятныя послѣдствія неудачи, которыя еще были впереди, все, все, кажется, требовало мести, все побуждало, тянуло идти до конца, такъ или иначе поставить на своемъ. Отступать?— ни за что! Во что бы то ни стало, они совладаютъ съ этимъ непокорствомъ, они заставятъ замолкнуть это ничтожное, но не-

угомонное сердце, — будь что будетъ! Хоть земля провались! Кляча? что для нихъ эта кляча!

— Употребимъ всѣ средства, — командовалъ, не помня себя, распорядитель, — все... все... Постараемся разстроить взаимодѣйствіе всѣхъ органовъ, внесемъ рознь, изолируемъ сердце. Для каждаго органа есть свои спеціальные яды. Давайте!

На дворѣ стояла глубокая, темная ночь и ученымъ волей неволей пришлось зажечь лампу. Шкафъ съ ядами былъ открытъ настежъ.

Свѣтало. Розовые лучи просыпавшагося за стѣнами солнца ворвались въ залу и окрасили бѣлыя стѣны. Приближалось время, когда ученымъ придется возвѣстить результаты своихъ опытовъ. Они были въ отчаяніи... Стыдъ, страхъ, злоба, попеременно и вмѣстѣ, давили, туманили мозгъ, заставляли бросаться отъ одного крайняго средства къ другому... Всю ночь напролетъ провозились они съ своими экспериментами, не помня себя отъ усталости и злобы. Ядъ смѣняли ядомъ. Они вливали его въ ротъ, впускали въ кровь, подносили для вдыханія. Все почти было уже испробовано... Желудокъ былъ парализованъ, мозгъ начиналъ атрофироваться, но сердце, маленькое сердце все-таки стучало и стучало свое: жить! жить! жить! Они ломали въ отчаяніи руки. Яду, яду, новаго яду!

И вдругъ сердце стало, замолкло...

Наконецъ-то! Но прежде, чѣмъ такое восклицаніе восторга могло вырваться изъ ихъ задыхавшихся грудей, сквозь плотно сжатыя бѣшенствомъ зубы, прежде даже, чѣмъ сознаніе успѣха перешло въ жгучую, острую радость, совершилось нѣчто ужасное. Все тѣло несчастной лошади, пропитанное ядами, лопнуло и распалось на части. Внутренности вывалились наружу, наполнивъ залъ клубами смертельныхъ міазмовъ...

Когда, съ наступившимъ днемъ, любопытные заглянули въ залъ, ихъ глазамъ представилась одна картина смерти и разрушенія. Такъ закончилась эта дерзкая попытка покорить, обуздать непобѣдимую жизнь...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.
Первый Гонораръ (разсказъ) 3
Боевая ночь (разсказъ) 41
Черная неблагодарность (повѣсть) 70
Изъ любви (разсказъ). 185
Хроника одного дня (картинка) 213
Новое средство (старая сказка) 239

Цѣна 1 руб. 50 коп.



